



ЮРИЙ ПЕРОВ  
**КОСВЕННЫЕ  
УЛИКИ**





---

ЮРИЙ ПЕРОВ

**КОСВЕННЫЕ  
УЛИКИ**

ПОВЕСТИ



---

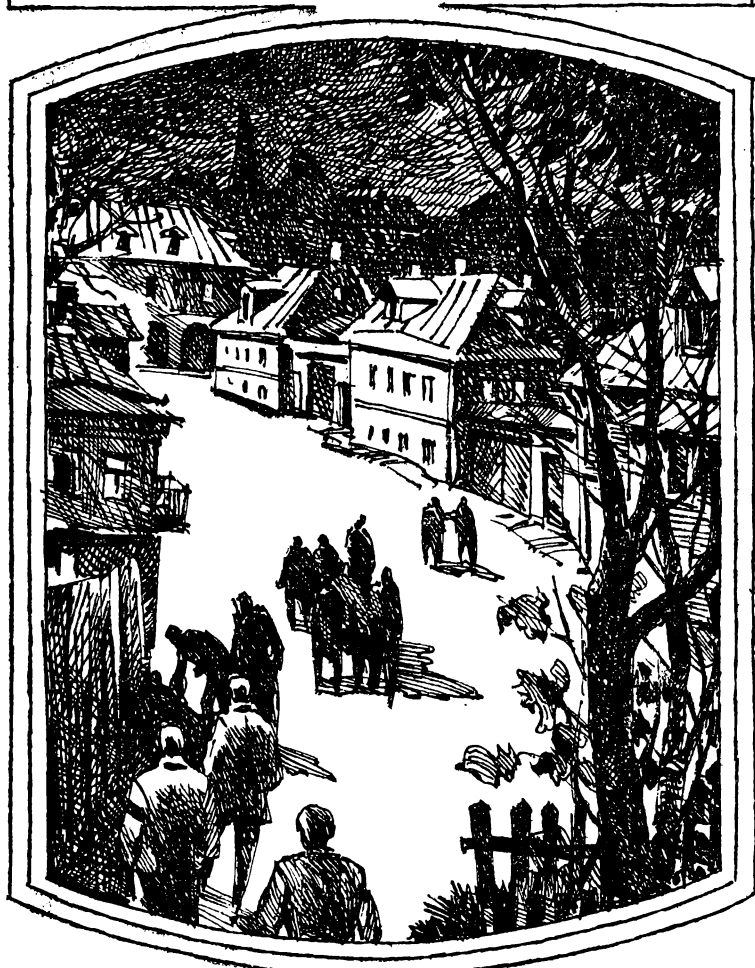
МОСКВА  
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”  
1982

84P7.  
П27.

П  $\frac{4702010200 - 017}{078(02) - 82}$  261—82

© Издательство «Молодая гвардия», 1982 г.

# КОСВЕННЫЕ УЛИКИ



ПОВЕСТЬ

Наш городок, или поселок городского типа, на первый взгляд ничем не примечателен. Вот разве только своим ликеро-водочным заводом, который, несмотря на изысканную первую половину своего названия, выпускает только водку. Да еще, кажется, какую-то фруктовую наливку на местном сырье и спирт.

Благодаря этому заводу жизнь нашего городка протекает весьма разнообразно... Это по мнению населения. А для нас — работников поселкового отделения милиции — это разнообразие выходит боком. Ничего серьезного, как правило, не происходит, но каждый день получается так, что мужики — конечно, не все — в конце смены заворачивают в цех готовой продукции. Достав из кармана уже усохший, припасенный с самого утра огурчик, стряхнут с него табачные крошки и пропустят, кто сколько может, чтобы «по струнке» пройти по заводскому двору. В проходной они еще должны «по-благородному» раскланяться с Трофимычем — вахтером, завзятым трезвенником. А за воротами уже сам себе хозяин. Хоть стой, хоть падай. Твое дело, да еще наше, органов милиции. Поэтому и веселятся все, кроме нас. А мы ведь тоже как-никак мужики, но при таком положении в городе обязаны быть все время начеку.

Случаев воровства нет, так как все друг друга знают. Хулиганства, такого настоящего, тоже нет по тем же причинам.

И кто бы мог подумать, что в нашем беспокойном, но веселом и беззлобном городке могут случиться события далеко не веселые?

Это произошло в конце августа 1970 года. Я зашел в Дом культуры. Была суббота, и после японской кинокартины «Красная борода» намечались танцы. А там всякое может случиться, притом после такой картины, где сплошные переживания в двух сериях... Я иногда хожу на танцы, хотя наши девушки уже давно махнули на меня рукой как на жениха. Может быть, и справедливо... За всю мною тридцатидвухлетнюю жизнь у меня еще ни разу не возникло желания жениться. И тем не

менее я регулярно хожу на танцы и объясняю это сам для себя служебным рвением.

Не успел еще инструментальный квартет из заводской самодеятельности закончить вступительный вальс, как кто-то ворвался в фойе и закричал, что человека убили.

Все сразу бросились на улицу. Мне с трудом удалось обогнать толпу и присоединиться к бегущим впереди двум или трем парням. Лучи их электрических фонариков метались по дороге, заскакивали на штакетник, освещали открывающиеся окна и бледные, испуганные лица в них. Первомайская улица начинается с Первомайской площади, где расположен клуб, и прорезает весь город почти до конца. От нее отходит множество переулков. Они вырастают из Первомайской часто по правую сторону. И улица от этого похожа на гребешок. Я бежал, светил себе под ноги фонариком и думал: в каком же переулке это произошло?

Слово «убили» я, конечно, не понял буквально. Я был уверен, что кого-то крепко стукнули, и теперь он сидит у забора и никак не может понять, что с ним случилось. У меня и в мыслях не было, что в нашем городке могут кого-то убить. И единственное, что меня беспокоило в то время, это как бы не пропустить нужный переулок. В клубе в сумятице кто-то называл Кривой или Овражный. Они расположены рядом, чуть ли не в самом конце улицы.

«Ну ничего, — думал я, — кто-то должен быть на месте происшествия, а фонарь у меня хороший, осветит весь переулок».

Сзади слышался топот настигающей меня толпы, раздавались возбужденные выкрики, и десятки фонариков освещали мне затылок. В Кривом переулке все было спокойно, только щелкали запоры на окнах и в домах, то в одном, то в другом загорался свет.

«Вот, — думал я на бегу, — весь город через пять минут будет на ногах, а потерпевший, может быть, уже убрался восвояси. Вот теперь разговоров-то будет! Может, и до области дойдет... Сейчас посыплются звонки, и Зайцев из областной прокуратуры будет отравлять наше существование своим юмором».

В Овражном переулке светили три карманных фонарика и слышались приглушенные голоса. Никакого оживления, скорее, наоборот, фонарики не двигались, а голоса звучали странно тихо. Еще не добравшись до

места происшествия, я, как и ожидал, увидел темную фигуру сидящего на земле спиной к забору человека. Когда я подбежал, осветил его лицо и нагнулся, чтобы лучше рассмотреть, меня как будто ударили по глазам. Лица у сидящего на земле не было...

Я заставил себя наклониться еще раз. На месте лица темнел мокрый провал. Нетронутым оставался только лоб. Рубашка и пиджак были залиты кровью.

Я попросил одного из парней сбегать в отделение и вызвать машину. Потом осветил лица тех троих, которых застал около трупa. Я хотел записать их фамилии, но подумал: «Зачем? И так знаю». Потом спросил:

— Кто первый увидел труп?

Как-то неудобно произносить это слово — «труп». Из толпы вышли двое. Их тоже осветил и тоже не стал записывать, а только попросил пока никуда не уходить. Это были парни из заводской дружины.

— Ребята, сделайте так, чтобы в переулке никого лишнего не было.

Ко мне подошел хирург из нашей больницы.

— Разрешите.

Я осветил фонариком. Хирург наклонился, нащупал запястье и через мгновение положил руку убитого на траву, затем поправил и положил ее на колено, блестящее от крови.

— Конечно... немыслимо... разумеется! Да, мертв. Мертв. Уже минут пять как мертв. Господи, да кто же это?

Я пожал плечами.

— Лицо изуродовано. Похоже, Никитин. Во всяком случае, документы его.

— Владимир Павлович? Не может быть... Не может быть... Зачем? Кто? Нет, не может быть... — Он еще раз посмотрел и отошел. С директором ликеро-водочного завода Никитиным они были в большой дружбе. Оба заядлые рыболовы и преферансисты. У хирурга Агеева частенько собиралась и расписывалась единственная в нашем городе полуночная «пулька».

Приехала машина со сменившим меня час назад дежурным лейтенантом Дыбенко. Вид у него был совсем растерянный, и, прыгнув с подножки «газика», он стоял в оцепенении, уставясь на освещенного фарами убитого.

Потом мы, определив по луже крови положение трупa, сфотографировали это место и отвезли труп в морг.

В карманах убитого были обнаружены деньги, большая связка ключей, удостоверение личности, носовой платок, два билета с неоторванным контролем и два с оторванным, деловые бумаги, неотправленное письмо в областной пищеторг с претензиями на плохую сохранность возвращаемой тары, карманный фонарь с перегоревшей лампочкой и треснутым стеклом. Такие фонари есть почти у всех в городе: в переулках осенью, когда ночи длинные и темные, без фонаря и шагу не ступишь.

— Значит, Владимир Павлович Никитин, — сказал Дыбенко. — Надо срочно звонить в областную прокуратуру.

Он снял телефонную трубку. В это время подошли дружинники и те трое, которых я застал на месте. Дыбенко звонил в область, а я сел заполнять протокол.

— Как вы обнаружили убитого?

Один из дружинников, Юра Блащук, подошел к столу и оглянулся на товарища, будто ожидая от него подтверждения.

— Мы патрулировали по Первомайской от Дома культуры. Народ шел домой, так мы каждый раз после последнего сеанса ходим. Всякое бывает после кино. Ну вот. Подходили уже к Луговому переулку, слышим: выстрел. Туда. Думаем, кто хулиганит. Заглянули в Конный — никого, посветили в другой — никого. Добежали до Кривого, нам из домов, из окон говорят — дальше. Завернули в Овражный и там сразу наткнулись. Подбежали, а кровь дымится, в луче так и видно.

— Когда вы слышали выстрел?

— Да как картина кончилась, мы со всеми и вышли. Я думаю, минут пять-семь всего прошло...

В отделение вошел запыхавшийся хирург Агеев.

— Да, это он. — Голос Агеева прерывался. Он с шумом забирал воздух и широко открывал рот, словно собирался крикнуть. — Это огнестрельная рана, безусловно, огнестрельная. Какое зверство, прямо в лицо! Брови обожжены, и на лбу точки от пороха. Какая жуткая рана! Похожа на осколочную... Зверство!

— Когда вы слышали выстрел? — снова спросил я у дружинника.

— Фильм кончился без пятнадцати одиннадцать, значит, выстрел был что-нибудь без десяти — без семи минут одиннадцать.



Я захватил с собой понятых, тех же дружинников, и снова отправился в Овражный. Навстречу нам попала Настасья Николаевна Никитина, жена убитого. Она выглядела растерянной и удивленной. Уже отойдя от отделения, я услышал ее протяжный, нечеловеческий крик. Так кричат от физической боли. Я знал Настасью Николаевну как очень выдержанную женщину.

Город еще никак не мог успокоиться. В окнах горел свет, двигались тени.

«Что буду делать завтра, — думал я, — с чего начать? Разумеется, приедет Зайцев. Он мужик головастый. Только очень уж колготной. С утра нужно сходить в Дом культуры, выяснить, был ли Никитин на фильме. Потом неплохо бы собрать людей, которые видели его там. Порасспросить, с кем разговаривал. В каком был настроении. Кто же его убил? Кто мог убить в нашем городке? Да, еще нужно взять список в охотничьем обществе, обойти всех, у кого есть оружие. Да, может, Зайцев и кстати приедет. Народу у нас маловато. А может, он и не ходил вовсе в кино? Почему это я вдруг решил?»

С такими мыслями я дошел до Овражного переулка. Мы долго и тщательно, метр за метром, осматривали проезжую часть переулка. В прошлом году от весенних и осенних распутиц на всех улицах и переулках было сделано шлаковое покрытие. За год шлак утрамбовался, осел, стал твердым и ровным, как асфальт. Обнаружить какие-либо следы на таком грунте было совершенно невозможно. Я посветил через низкие заборы в палисадники соседних домов. И там никаких свежих следов не было видно. Ничего.

Потом стал искать пулю. Ведь она прошла насквозь, значит, должна быть здесь, недалеко, где-нибудь метрах в десяти-двенадцати. Никитин убит из охотничьего ружья, в этом нет никакого сомнения. Боевое оружие не оставит такой страшной раны. Может, выходное отверстие и будет большим, но входное должно быть только чуть-чуть побольше самой пули. Охотничьи ружья стреляют пулей метров на сто — сто пятьдесят. А если пуля прошла сквозь череп, деформировалась, потеряла свои аэродинамические качества, значит, улететь далеко не могла. Значит, где-то здесь.

И я снова метр за метром осветил всю проезжую часть. Внезапно, шагах в десяти-двенадцати от того места, где был найден труп, луч моего фонарика выхва-

тил из общего темного фона дороги какой-то блестящий предмет. Я присел на корточки и поднес фонарик к самой земле. Это был свинец. Небольшая клякса свинца. Он блестел, как будто его только что расплавили и капнули им на дорогу. Я невольно с осторожностью поднес к нему руку, словно боялся обжечься. Свинец был, конечно, холодный. Я аккуратно взял его кончиками пальцев за края. На том месте, где он лежал, сделал отметину щепкой. Этого мне показалось мало. Тогда я нашел обломок кирпича и, расковыряв щепкой слежавшийся шлак, каблуком вогнал кирпич в ямку. Осветил отметину фонарем. Красный кирпич был хорошо виден на шлаке.

Возвращаясь в отделение, думал, что проверка ружей ничего не даст. Охотничий сезон начался две недели назад, и ружья почти у всех городских охотников хоть раз, да уже стреляли в этом году. Но ничего, можно будет поразмышлять над списком. Может быть, что-нибудь и придумаем.

---

## Глава II

В отделении Дыбенко разговаривал со свидетелями, которые видели Никитина в Доме культуры. Они пришли сами вслед за машиной. Я так и думал, что придут.

Настасья Николаевна сидела в сторонке, на табуретке, около самой двери, и держала мокрый платок у глаз. Ее трясло, и я видел, как ее локти тихонько бьются о стену. Агеев стоял около нее и поглаживал по плечу, что-то шептал бледными губами. На его осунувшемся лице как-то очень отчетливо и угрюмо проступала черная жесткая щетина.

Я сел около стола, сбоку от Дыбенко, и стал слушать. Говорил начальник посудомоечного цеха Афонин, старик, ему уже давно пора на пенсию, но он все еще продолжает работать по причине «довольно сносного», по его словам, здоровья и еще потому, что на пенсии он не знал бы, чем заняться. Никакой другой страсти, кроме работы, он не имеет. Зато на заводе неистов, трудолюбив и упорен необыкновенно.

— ...Мы с ним раскланялись, и я с супругой пошел в буфет пить воду — лимонад, а супруга — чтобы съесть пирожное.

— Вы конкретнее, пожалуйста, Фома Григорьевич, не отвлекайтесь, — перебил его Дыбенко.

— Я это для чего говорю? Чтобы знали — был трезв, значит, в своем уме и за свои слова отвечаю. После кино и выходили вместе; он сидел через два ряда, а на выходе встретились. Потом супруга моя с подружкой остановилась, а я в стороне покурил. А Никитин Владимир Павлович пошел домой. Прямо так и пошел со всем народом.

— И больше вы его не видели?

— А когда ж тут видеть? Я еще и до дому не дошел, как бегут навстречу... Кричат — убили, убили... Я первым делом супругу домой отослал, до калитки отвел — и туда.

— Ничего подозрительного не заметили по дороге? — спросил Дыбенко.

Фома Григорьевич вытащил темно-синий носовой платок и долго сморкался. Потом вытер глаза.

— А что я мог увидеть подозрительного? Какое тут подозрение, когда был человек и нет его без всяких подозрений?

— Может быть, что-нибудь необычное? — настаивал Дыбенко.

— Что уж там необычное? Все как всегда. Ничего и никого, кроме Егора Власова, не видел. Да, вернее, и видел-то не я, а наш шофер Куприянов Николай Васильевич. Это когда мы шли уже туда, в Овражный. Он еще сказал: «Смотри, — говорит, — Фома Григорьевич, Егора-то нашего где-то черти шатают. Только домой вломился. Обычно он в это время уже в лежку лежит, а сейчас еще на ногах. Прямо чудеса...» Мы аккуратно мимо его дома проходили. Да вы знаете; он живет на углу Первомайской и Керосинного, четвертый переулок от площади...

Ну я посмотрел, а он, Егор, уже, наверное, в дом вошел. Я только и слышал, как дверь хлопнула. Потом мы с Куприяновым дошли до самого Овражного, а там и вы вскоре подъехали, так что ничего подозрительного и не было. Идут люди, спешат, беспокоятся. Шутка ли, человека убили! Вот и все. Мне и сказать-то больше нечего. — Он поднялся, засунул платок в карман. — А если что нужно, то звоните прямо на завод, а сейчас я пойду. Там супруга, наверное, померла со страху за меня.

— Спасибо, Фома Григорьевич, — сказал Дыбенко и поднялся.

Дыбенко подошел к Никитиной.

— Настасья Николаевна, садитесь, пожалуйста, к столу...

— Я не могу. Не спрашивайте ни о чем, ради бога, вы же видите, я не могу. Сейчас я посижу и уйду, только не спрашивайте, я не выдержу... — Она заплакала и закрыла лицо платком.

Агеев умоляюще посмотрел на Дыбенко.

— Пожалуйста, не сейчас. Ведь можно же завтра. Ведь это формальности. Пожалуйста, завтра.

— Завтра может быть поздно... — неуверенно сказал Дыбенко.

«А ведь действительно может быть поздно, — подумал я. — Дыбенко прав. Нужно послать Шерстнева на вокзал. Местные поезда сейчас не ходят, другие не останавливаются, но всякое может быть. Товарняку много проходит. По территории станции товарные поезда идут медленно».

— Старшина Шерстнев, идите на вокзал. Кто там сегодня дежурит? Стариков? Найдите и предупредите его, чтоб внимательнее следил за товарными поездами. Скажите, пусть позвонит по линии, на соседние станции. Если кого подозрительного заметят на товарном, чтоб любой ценой сняли.

— Слушаюсь. — Старшина приложил руку к козырьку и вышел.

— Слава, позвони на пост ОРУДа, пусть и там присматривают, — сказал я Дыбенко. Он кивнул и снял трубку.

Никитину увел домой Сергей Сергеевич. Конечно, нелепо сейчас разговаривать с обезумевшей от горя женщиной. Дружинники Блащук и Снежков тоже ушли. Сегодня они больше не понадобятся. Они сказали, что на всякий случай ходят по улицам...

Дыбенко дозванивался на пост ОРУДа. Я положил перед ним пулю, завернутую в носовой платок. Он зажал трубку плечом и стал осторожно разворачивать сверток.

— Что это?

— Вероятно, пуля.

— Там нашел?

— Да. А что, Куприянов сюда не приходил? — спросил я.

— Какой Куприянов?.. Алло! Алло! — закричал он в трубку. — Девушка, позвоните дежурному погромче, он должен быть там. Вот черт, как долго не подходит! Спит он, что ли?.. О каком Куприянове ты спрашиваешь? — Дыбенко оторвался от расплющенной пули и удивленно посмотрел на меня.

— Ну тот шофер, который шел вместе с Афониным и видел Власова.

— А-а-а... Вроде не приходил. А там кто его знает? Я ведь всех не помню в лицо. Какое дело! Завтра придет. В крайнем случае вызовем. Ты смотри, как ее расплющило. Натворила она... Наверное, лобзиком подпил, гад, сделал разрывной... Алло! Алло! Стрельников? Это ты? Ты что, спишь там, что ли? Из города на шоссе никто не выезжал? Так, подожди, запишу. Бензовоз. Хлебная, и все. Водителей знаешь? Рядом никто не сидел? Хорошо... Да, тут у нас ЧП, ЧП, говорю. Убийство. Никитина, директора ликеро-водочного завода. Из ружья в лицо. Вот Сохатый пулю нашел. Разрывной стрелял, гад. Небось сидел дома, подпиливал. Так что если что заметишь, удержи и звони. Все! Привет! Не спи там! Ладно! Ладно!

Он положил трубку и взвесил пулю на ладони.

— Дела... — сказал он. — Что дальше? Будем ждать Зайцева?

— И ждать будем, — ответил я.

— Все-таки как ты думаешь, кто?

— Посмотрим... чего зря болтать.

— Посмотрим, посмотрим... А может быть, и не посмотрим. И такое бывает. Может, так и не узнаем кто. — Он взглянул на часы. — Однако и времени уже три часа. Ступай домой, тебе завтра с утра на дежурство. Хлопот будет, беготни... Иди, а то глаза как у вареного рака.

— Ты не помнишь, Егор Власов охотник?

— Охотник? Да какой он, к черту, охотник? Вот водку пить действительно большой охотник...

— Ну ружье-то у него есть?

— Есть, все ломаное-переломаное, проволокой перекрученное. Уж, наверное, проржавело насквозь. А что ты его вспомнил? — удивился Дыбенко. — Может, еще и подозреваешь? Тоже мне, нашел преступника! Он и трезвый-то еле на своей одной ноге да на деревяшке

стоит, а трезвым он уже лет десять не был. Нет, он не по этому делу. Это ж наш штатный нарушитель, пять приводов в неделю. Рекордсмен!

— Вот и я о том. Ты помнишь, чтобы мы его хоть раз после семи часов забирали? — Дыбенко пожал плечами. — Сроду этого не было, — сказал я. — Он начинает заправляться с обеда и обычно часам к семи, ну в крайнем случае к восьми попадает к нам на профилактику. Потом, как правило, Костя Фомичев часов в десять везет его домой и там выгружает. А в одиннадцать часов он всегда спит. А если не нагрузился как следует и не попал к нам, то тем более. Нет возможностей выпить, значит, не стоит и бодрствовать.

— Это все так, — задумчиво произнес Дыбенко, — у нас его сегодня не было. Стало быть, недобрал. Тогда по расписанию он должен спать, а он шатается. Что-то на него непохоже. Нужно будет завтра выяснить, где он был с половины одиннадцатого до одиннадцати.

Выяснить это нетрудно. Егора Власова, инвалида Отечественной войны, безногого, контуженного, знает весь город.

---

### Глава III

Утро следующего дня для меня началось телефонным звонком. Приехал Зайцев. Когда-то мы вместе кончали юридический факультет МГУ. С тех пор, стоит только Зайцеву появиться в моем городе, он сразу начинает названивать мне по телефону.

— Как дела? — спросил он, даже не поздоровавшись. — Отдыхаешь?

— Нет. Какой там отдых...

— Зря. Отдыхай. Мы пока без тебя с Дыбенко здесь управимся. Так что отдыхай пока.

— Да я бы и сам хотел, но ты же мешаешь...

— Старший лейтенант Сохатый, с начальством так не разговаривают.

— Извините, товарищ Зайцев, погорячился спр-сонья.

— То-то.

Он повесил трубку. Мне показалось, что позвонил он нарочно, чтобы, так сказать, мобилизовать. Ну что же, он добился своего, я мобилизовался в десять минут.

Проглотил колбасу, запил холодным чаем прямо из заварника и вышел на улицу. Мне хотелось до работы попасть на ликеро-водочный завод и поговорить с Куприяновым. Может, сообщит что-нибудь новенькое про Власова.

Машина Николая Васильевича Куприянова стояла во дворе завода, возле склада готовой продукции, среди шатких сооружений из сотен водочных ящиков. Я заглянул на склад. В конторке сидели заведующий складом Шохин и Афонин. Фома Григорьевич рассказывал с подробностями о вчерашнем происшествии.

— Здравствуйте. Здесь не было Куприянова?

— Так он в месткоме, — сказал Шохин, — его выбрали председателем похоронной комиссии. Они ведь с Владимиром Павловичем старинные друзья... были. Однополчане.

У входа в управление висел увеличенный портрет Никитина, перевязанный по углам красной и черной лентами.

Такой же портрет висел и в комнате месткома. «Когда они успели увеличить?» — удивился я.

Куприянов разговаривал по телефону. Он взглянул на меня, кивнул и закончил разговор.

— Вы ко мне?

— Да, здравствуйте, Николай Васильевич.

— Вы по вопросу... — Он замялся, не зная, как сказать. — Вы насчет вчерашнего?

— Да. Скажите, пожалуйста, Николай Васильевич, вы вчера были в Доме культуры на последнем сеансе?

— Был.

— Вы видели там Никитина?

— Конечно, видел, мы с ним еще разговаривали.

— О чем?

— О производстве, о чем же еще, — ответил Куприянов, ни на секунду не задумываясь. — Он со мной посоветовался насчет транспорта. Мы хотим...

Я не дал ему развить производственную тему.

— Вы не помните, в каком настроении был Никитин, когда вы последний раз с ним разговаривали?

— Настроение?.. — Он задумался, достал пачку «Беломора», долго разминал папиросу над пепельницей. Брови его сошлись в жесткой складке. — Настроение у него было неважное. Я еще подумал про себя, что слушать-то он меня слушает, а в голове у него совсем

другое... Мрачный он был и какой-то расстроенный, угнетенный. Будто предчувствовал.

— А после сеанса вы его видели?

— Нет, после сеанса не видел. Я ведь был с машиной, она стояла за клубом, как фильм кончился, я пошел сразу к машине — хотел отвести ее в гараж, а там свеча засалилась, чтоб ей пусто... и лампочка в моторе, как на грех, перегорела, ну, я и ковырялся впотьмах, скоблил свечу. Вроде ничего, очистил, а не заводится. Я тогда пошел в клуб, думаю, на свету скорее с проклятой разберусь. А тут и паника началась...

— Скажите, а по дороге в Овражный вы ничего подозрительного не заметили?

— Вроде ничего...

— Может быть, вам что-нибудь показалось необычным? Подумайте, вспомните — это очень важно.

— Да нет, вроде все обычное... Он пожал плечами, покачал головой и подтвердил — Все как всегда.

Разговор оборвался. Я молчал. Мне показалось странным, что он не вспомнил о Власове. Ведь он обратил внимание, даже с Афониным поделился. Был удивлен. Почему же сейчас молчит об этом?

Куприянов выжидающе смотрел на меня. Разговор вроде кончен, а я и не собираюсь уходить. Вероятно, его это смущало. Он достал новую папиросу и стал ее разминать, как и первую, долго и аккуратно, над самой пепельницей.

— Николай Васильевич, — сказал я с мягкой укоризной в голосе, — а почему вы не хотите мне сообщить, что видели вчера Власова, возвращающегося домой, сразу после того, как произошло убийство Никитина?

Куприянов вздрогнул.

— А почему вы думаете, что я его видел? — неуверенно спросил Куприянов.

— Я не думаю, я знаю. Мне сказал Афонин. И странно, почему вы это скрываете.

Он вышел из-за стола, прошелся по комнате, потом махнул рукой и остановился напротив меня.

— Хотите честно?

— Хочу, — сказал я и тоже поднялся. Мы оказались лицом к лицу.

— И не сказал бы вообще!

— Почему же?

— Я Власова знаю тридцать лет. Воевали вместе.



Ну и что из того, что человек пьет? Ему можно простить. А на преступление, на подлость он не способен. Так, пошумит, побузит и спать завалится. А вам только скажи... Затаскаете... Вот поэтому и не хотел говорить. И не сказал бы, если б Афонин не наболтал.

— Не волнуйтесь, Николай Васильевич, — сказал я извиняющимся тоном, — невиновного мы не очерним, не волнуйтесь. — И чтобы перевести разговор, спросил: — Когда намечены похороны?

— Послезавтра в десять утра, — очень сухо ответил Куприянов.

Секретаря Никитина Лену Прудникову я нашел тоже не сразу. В приемной ее не оказалось. Ждать мне было некогда, и я решил уже уходить, спускался по лестнице и услышал ее каблучки. У нее были красные от слез глаза и растрепанная прическа.

— Здравствуй, Лена.

— Здравствуй. — Она остановилась и протянула мне руку. — Ты извини, Борис, я очень спешу...

— А я к тебе по делу.

— Тогда пойдем в приемную, я там найду одну бумажку, а ты, пока я буду искать, расскажешь.

Мы поднялись в приемную, она выдвинула ящички своего стола и принялась разбирать бумаги. Я без всякого предисловия спросил:

— Ты в последнее время ничего не замечала за Никитины? Он вел себя нормально, как всегда?

— Нет. — Она оставила бумаги. — Он в последние дни был какой-то странный, рассеянный. А недели полторы или две назад я вошла в его кабинет, и мне показалось, что он плакал. Как только я вошла, он отвернулся, открыл зачем-то сейф и стал там копать. Потом поглядел на меня с такой тоской... И сказал... Я уже не помню точно, но что-то в таком роде... Постой, сейчас вспомню... Да, он сказал, что на этой земле нельзя ступить и шагу безнаказанно. И что потом за все придется платить. Втройне... Я спросила: «За что?» Он сказал: «За все. И не надо надеяться, что останешься безнаказанным, и лучше сразу платить». И, усмехнувшись, добавил: «Лучше сразу, а то пени нарастают, а впрочем, это все ерунда и не обращай на меня внимания, Леночка. Это я так... Философствую... К старости такое бывает».

И вообще весь этот месяц он был какой-то издерганный... Все время спешил. И меня торопил. Я однаж-

ды подумала, что он собирается уезжать отсюда. Так он спешил...

— Ты не знаешь, он днем вчера собирался в кино?

— Собирался. Еще просил меня узнать, во сколько начало.

— При этом был кто-нибудь?

— Никого.

— Знаешь что, Лена, у меня сейчас времени в обрез, а вечером я, может быть, освобожусь. Мне бы с тобой еще поговорить...

— О Никитине? — Она внимательно посмотрела на меня.

— Да, о нем, — твердо сказал я и поднялся.

---

#### Глава IV

Прежде чем отправиться в отделение, я решил зайти в исполком. Там работала Надя Власова, племянница Егора Егоровича. Самого Власова я пока не хотел беспокоить. Действительно, не стоит зря его волновать. Подходило время моего дежурства, и я был вынужден позвонить в отделение и предупредить, что задержусь.

К телефону подошел Зайцев.

— Следователь прокуратуры Зайцев слушает.

— Это говорит инспектор уголовного розыска старший лейтенант Сохатый.

— Я вас слушаю, — ледяным тоном произнес Зайцев.

Я ему попытался коротко изложить причину моей задержки.

— А почему вы не хотите заняться самим Власовым?

Я объяснил почему.

— Либеральничаем, старший лейтенант Сохатый, а с момента убийства прошло уже десять часов. Вам ясно, товарищ Сохатый? — очень многозначительно закончил он.

Надя удивилась моему приходу, особенно когда я попросил ее выйти со мной в коридор из комнаты жилищного отдела, где она работала инспектором и где всегда толпился народ.

— Наденька, — сказал я, — вчера вечером вы где были?

— Как где? В клубе. Вы что же, не помните? Мы еще с вами поздоровались...

— Ах да, совсем забыл. Конечно, конечно... — Я так и не смог вспомнить, чтобы мы поздоровались. — Вы, разумеется, уже знаете, что вчера произошло.

— Знаю. — Она кивнула и погрузилась.

— А что ваш дядюшка говорит по этому поводу?

— Что говорит? Говорит, что зря человека не убьют... Сегодня утром встал злой, а как я ему рассказала, еще больше разозлился. Выпросил у меня трешку. Как-никак они вместе воевали с Никитиным...

— Значит, он считает, что его убили за дело?

— Нет, — она пожала плечами, — он так не сказал. Он вообще по утрам злой, похмельный. Ему чего ни скажи — все так и надо.

— А что же он, только сегодня и узнал? А вчера?

— Так он же вчера спал пьяный. Его и пушкой не разбудишь.

— Вы во сколько пришли домой?

— Часов в одиннадцать, а точнее, в начале двенадцатого.

— И Егор Егорович спал, когда вы возвратились?

— Спал! Так храпывал, что стекла дрожали.

— Значит, вы на танцы не остались?

— Какие уж танцы... — сказала она обиженно, потом задумалась и озабоченно спросила: — Почему вы меня обо всем спрашиваете? Опять он что-то натворил?

Она подняла на меня глаза, полные такого испуга, что я поспешил ее успокоить:

— Да нет же, все в порядке. Просто Егор Егорыча у нас вчера не было, вот я и решил справиться. Не случилось ли чего с ним. А то видите, какие происшествия в нашем городе...

Я попытался улыбнуться. На самом же деле улыбаться мне совсем не хотелось. Вот ведь как получается: двое видели Власова без пяти одиннадцать, а в одиннадцать десять он уже спал. На него это не похоже. Обычно он засыпает не так скоро — уж мне-то известно. Прежде чем захрапеть, он минут двадцать сидит на кровати и беседует сам с собой о жизни. Потом лежа выкуривает папиросу, произносит свой последний монолог и уже тогда забывается. Да, неувязка. Выходит, или те двое ошибаются, или Егор притворялся, что спит. Мне очень не хотелось, чтобы Власов хоть чем-нибудь был причастен к этому делу. Я за семь лет работы в этом

городке настолько привык к нему, что он стал уже необходимой, неотъемлемой частью моей жизни.

Я сколько мог успокоил Надю и пошел не в отделение, как мне следовало бы, а направился к дому Егора.

Дом Власова был заперт на большой висячий замок. Я несколько раз обошел вокруг дома, внимательно исследовал каждую вмятину на дорожке от калитки к крыльцу. Ничего, только кругленькие ямки от Надиных каблучков, чуть побольше углубление от деревяшки Егора Егорыча да засохшие с прошлого дождя рубчатые следы от его резинового сапога. В глубине двора был выкопан неглубокий колодец, я заглянул и туда, но ничего не увидел. Слишком темно, а фонарь я не захватил.

Где находится ключ от замка, знал не только я, но и все отделение. Мы так часто отвозили Власова домой, что наловчились находить ключ на ощупь, в любую темень, под первой ступенькой крыльца. Это было всего лишь несколько дней назад... Теперь же я не мог воспользоваться этим ключом. Теперь наши отношения с Егором вступали в новую, непривычную и нелепую стадию... Я не верил в серьезность своих изысканий и все-таки обрадовался, заметив электрический фонарик, висящий на гвоздике возле запертой двери.

«Вот и славно, — подумал я, — можно будет посмотреть в колодец». Снял фонарик и нажал на кнопку. Лампочка горела ярко — батарейки были свежими.

Из колодца веяло сыростью и холодом. Луч фонаря осветил маленький круглый предмет.словно из воды выступал конец трубы. Откуда здесь быть трубе? Я взял комочек земли и бросил в колодец. Раздалось глухое бульканье — вода пошла кругами, и предмет, похожий на трубу, закачался.

Я опустил ведро и стал водить веревкой, стараясь подвести его поближе к заинтересовавшему меня предмету. Наконец мне удалось зачерпнуть его вместе с водой. Когда я, перебирая руками веревку, вытаскивал ведро, то, кажется, чуть не лопнул от нетерпения и любопытства. Это была гильза. Она и в ведре плавала солдатином. Новая папковая гильза, под «жавело» двенадцатого калибра, завода «Азот» с клеймом 70-го года. Я присвистнул от неожиданности. До этого момента я не принимал всерьез ни одного странного факта в поведении Власова. Но тут я просто опешил. Я оставил ведро с водой на плоско срезанном дубовом срубе, за-

вернул гильзу в носовой платок, положил в карман и отправился в отделение.

Зайцев, что называется, кипел на работе. Увидев меня, он демонстративно отвернулся. Дыбенко с синяками под глазами корпел над протоколами. Конечно, канцелярщина не для Зайцева.

— Как дела? — спросил я.

— Дела... — сказал Дыбенко, не поднимая головы.

— А ты почему здесь? — спросил я.

— Здесь, и все, — сказал Дыбенко.

— Определили пулю?

— Определили. Новый тип, называется «турбинка», такая штуковина, на катушку из-под ниток похожа.

— В магазине узнавали, кто покупал?

— Их привезли еще весной. Две коробки по пятьдесят штук. Коробку двенадцатого и коробку шестнадцатого калибра. Продали всего двадцать. Три человека взяли по пятаку, а четвертый пяток разошелся по одной.

— И кто же покупал?

Зайцев ответил не сразу. Он выдержал паузу, затаился сигаретой и только потом небрежно сказал:

— Первую пятерку купил Никитин, потом Стремовский, завклубом, третью пятерку — главный инженер завода Исаков. Остальные разобрали ребяташки для грузил на удочки.

— Ходили к этим двоим?

— У них пули оказались целыми. А купили они просто так, для интереса. Кого здесь у вас пульей стрелять? Они даже и не заряжали. К тому же ружья у них шестнадцатого калибра.

— А никитинские на месте?

— У Никитина мы не нашли ни одной. Кстати, пуля, которой он был убит, двенадцатого калибра. И ружье у него тоже двенадцатого. Кроме тех пяти пуль, которые купил он, двенадцатого больше никто не покупал. В коробке так и осталось сорок пять штук.

— Интересно... — сказал я и сел на диван. — И что же вы теперь думаете?

Дыбенко пожал плечами, потом кивнул на Зайцева:

— Он думает, а я оформляю протоколы и сейчас спать пойду.

Зайцев ничего не ответил.

— Что-нибудь новое обнаружили?

— Ничего... никаких следов. Все чисто. Безупречная работа. А у тебя как?

— У меня сложнее, — сказал я и выложил на стол гильзу, завернутую в носовой платок. Потом рассказал все, что удалось узнать за это утро.

— Да... — внимательно выслушав меня, сказал Зайцев. С лица Дыбенко сошло сонное выражение. Он достал протокол допроса Афонина и протянул его мне.

— Нужно заниматься Егором, — сказал он растерянно. — Как же это могло быть?

— Надо немедленно проверить его ружье, — сказал Зайцев. — Дыбенко, подготовьте постановление на обыск. Совершенно напрасно, — сказал он, сурово сдвинув брови и обращаясь ко мне, — совершенно напрасно вы извлекли гильзу из колодца. Это следовало сделать при понятых во время обыска.

— Но если б я не извлек эту гильзу, у нас не было бы оснований для обыска, — невесело улыбнулся я.

— Вы должны были обнаружить ее и оставить на месте.

Я не стал ему возражать.

Егора мы так и не нашли. Вернее, я знал, где его искать, но сообщать об этом Зайцеву пока не стал.

Промолчал и Дыбенко. Обыск мы проводили в присутствии Наденьки, специально вызванной для этого с работы. Собственно, это был не обыск в обычном его понимании. Нас интересовало только ружье Власова.

В доме была идеальная чистота — дело рук Наденьки, только в закутке, где спал Егор, валялись окурки и пахло давно не мытой пепельницей и водочным перегаром с легким привкусом лука, любимейшей закуски Власова. Видимо, Надя еще не успела прибраться: спешила на работу.

Ружье висело над его кроватью. Оно действительно было ломаное-переломаное. Старая ижевская одностволка двенадцатого калибра. Я осторожно снял его с гвоздя и понюхал ствол. Из ствола пахло свежим порохом. Я достал носовые платки, осторожно переломил ствол и посмотрел на свет. Ничего особенного я там не увидел, потому что плохо разбираюсь в ружьях. Но из ствола совершенно отчетливо пахло порохом.

Эксперты считали, что из этого ружья был произведен выстрел не далее чем вчера вечером.

Зайцев лично оформлял постановление об аресте Власова. Я еле уговорил его поручить это дело мне.

— Возьми с собой людей и оружие, — посоветовал Зайцев.

— Обязательно...

— Ну и дела... — сказал Дыбенко. — Вот уж никогда бы не подумал... Егорыч — убийца. Нет! Не верится.

---

## Глава V

Водку в городе начинают продавать с одиннадцати часов. Я посмотрел на часы. Десять пятьдесят. Значит, остается еще десять минут. Можно успеть. «Стало быть, так, — размышлял я, — если его нет у гастронома на Первомайской площади, значит, он не утерпел и теперь сидит в чайной и пьет вермут. Нужно сразу бежать туда, пока он не дошел до утренней кондиции».

Мне повезло, я нашел Власова у гастронома на Первомайской. Он расположился на лавочке в окружении двух друзей по несчастью. Вид у них был самый плачевный. Руки тряслись, глаза воспалены и заплыли отеками веками. Власов сидел, выставив свою деревянную ногу немного в сторону. Взгляд его был устремлен на столб с часами.

— Здравствуй, Егорыч, — сказал я сочувственно, — страдаешь?

— А... — Он повернул голову и сердито посмотрел на меня. — Моя милиция меня стережет, — ответил он вместо приветствия и снова уставился на часы.

— Егорыч, дело есть, нужно поговорить, — сказал я и присел рядом с ним.

Он молча подвинулся, освобождая мне место, и его деревянная нога прочертила по песку, насыпанному перед скамейкой, глубокую борозду.

— Где ты пропадаешь? — участливо спросил я. — Вчера тебя целый день не было видно, и к нам не заглянул. Мы уж соскучились.

— Мне и без вас весело, — ответил он мрачным голосом.

— Как же ты вчера вечером сумел нас обойти? — не унимался я.

— Спал я вчера вечером.

— Так уж и спал?..

— Говорю, спал, значит, спал. Надоели вы мне все.

— А мне говорили люди, что видели тебя вчера вечером в половине одиннадцатого... То-то я удивился. Чего это, думаю, наш Егорыч в полуночники записался? Сроду за ним этого не было. А если и полуночничал, так опять же в нашем обществе...

— Спал. Говорю, спал, значит, спал. Весь вечер спал и даже на двор не выходил. Ну ты как хочешь, — он еще раз взглянул на часы, — а мне пора. — Глаза его посветлели, и даже голос стал мягче. — Ты подожди, если дело у тебя. Я сейчас поправлюсь, так и поговорим.

— Некогда мне ждать, Егорыч. Такое дело.

— Ну тогда давай, начальник, выкладывай свое дело.

— Гражданин Власов, вы подозреваетесь в убийстве директора ликеро-водочного завода Владимира Павловича Никитина. Пройдите со мной.

Власов усмехнулся.

— Это и есть твое дело, начальник? Хорошо, что при людях не сказал. Чуткость проявил. Стало быть, пошли?

Мы встали. Он медленно заковылял по направлению к милиции.

— Транспорт не догадались подать, — сказал он. — А почему это вы думаете, что Никитина убил я?

Всю остальную дорогу мы молчали. На улице на нас никто не обращал внимания.

Я медленно шел за Власовым. Идти мне совсем не хотелось. Настроение было дрянное. Мне предстояло привести Егорыча в милицию, снять с него ремень, обыскать и найти в карманах два рубля (рубль из выданной ему Надей трешки он наверняка уже пропил), смятую пачку «Прибоя», спички и кучу табачных крошек. Содержимое его карманов я знал лучше его. Кроме названных, крайне необходимых ему предметов, у него ничего больше не должно быть. Он живет просто и легко. Ему больше ничего и не нужно.

Все это так, но факты упрямая вещь, как говорит Зайцев. Все факты против Егора. Его видели двое свидетелей. Из его ружья двенадцатого калибра произведен выстрел. У него в колодце обнаружена гильза.

Власова мы поместили в изолятор временного содержания. Инспектор и эксперт, которых из областного управления привез с собой Зайцев, направлялись на



квартиру к Власову. Когда все приготовления были закончены, я попросил у Зайцева сигарету и закурил. Мы уселись на стол, рядом друг с другом, и стали дымить.

— Знаешь, — сказал Зайцев, — конечно, вся эта история не из приятных, но я рад за тебя. Хорошо, что все так удачно сложилось, может, теперь ты выберешься отсюда. Может быть, тебя к нам переведут, повысят, будем вместе работать. В общем, я рад за тебя.

— Ты думаешь, это все? — спросил я его.

— Ну, не совсем. Безусловно, еще придется повозиться, но в основном картина ясная и сроки, прямо сказать, рекордные.

— Боюсь, что все это не так скоро кончится, — сказал я. — Мне кажется, что все чересчур просто. Так не бывает. И уж очень прямые улики. И все неотразимые, как на подбор. Я начну допрос, а ты посмотри на него. Понаблюдай, а потом вместе подумаем. Я ничего особенного не буду спрашивать. Считаю, что до окончательного заключения экспертизы это не нужно. Сейчас мы постараемся выяснить, чем он занимался весь вчерашний день, до возвращения домой его племянницы. Кстати, я совершенно уверен, что она меня не обманула, когда сказала, что он спал.

Я велел ввести Власова. Он вошел, громко стуча деревяшкой, сел на стул и спросил:

— А что, курить не положено?

Я принес из дежурки его «Прибой». Никаких других папирос он не признавал. «Странно... — подумал я, — странно допрашивать человека, о котором знаешь все, до самой последней привычки. Иной раз кажется, что даже и образ мыслей его тебе известен. Смотришь на него и словно видишь, как медленно, неловко ворочаются нехитрые мысли в его голове».

Я начал допрос:

— Скажите, Власов, чем вы занимались вчера в девять часов утра?

Вопреки моему ожиданию он не ухмыльнулся и не подпустил по обыкновению шутку. Арест окончательно протрезвил его, и теперь он сидел прямо, чуть откинув голову назад, смотрел куда-то поверх меня. Отвечал сухо и сдержанно. Ни одного лишнего слова. На мой первый вопрос он ответил так:

— Спал. Проснулся в шесть, покурил, выпил воды

из колодца, похолоднее, и снова лег. Потом пошел в магазин похмеляться.

— С кем похмелялись?

— С Федькой и Степкой. Фамилий не знаю.

— Что делали дальше?

— Пил водку. Потом спал на лавочке за магазином.

Потом снова пил.

— Откуда у вас деньги?

— От пенсии осталось немного.

— Во сколько вы пили во второй раз.

— Вечерело. Думаю, часов в шесть.

— Что было потом?

— Пошел домой спать.

— Ни с кем не останавливались, не разговаривали?

Кто вас видел?

— Да все.

— Кто может подтвердить ваши слова?

— Все и Анька, продавщица в бакалее.

— Во сколько вы пришли домой и что делали дома?

— Пришел в половине седьмого. Точно. Посмотрел на часы, покурил и лег спать до утра.

— Ни разу не просыпались?

— Ни разу. Не имею привычки.

На все мои вопросы он отвечал равнодушно, ровным голосом, спокойно покуривая и не глядя на меня.

Я приказал увести арестованного.

— Ну, что скажешь, товарищ Зайцев?

Он пожал плечами.

— Да... Непонятно. А, главное, удивительно спокоен. За весь допрос ни один мускул на лице не дрогнул. Такое впечатление, что ему на все наплевать. У него какая группа инвалидности?

— Первая.

— А с головой все в порядке?

— Психически он нормален, но после контузии у него часто бывают головные боли, припадки. Нервы у него не в порядке.

— Как ты думаешь, — задумчиво спросил Зайцев, — его можно судить, если удастся доказать его виновность?

Я неуверенно пожал плечами.

— А может, вместо колонии его определяют в больницу для душевнобольных? Очень просто! Судебно-психиатрическая экспертиза определит, что преступление совершено в невменяемом состоянии и прочая, и про-

чая... Его, конечно, признают социально опасным и уложат на год-другой в уютную лечебницу, а там подлечат и выпустят. Может такое быть, как по-твоему?

— Вполне может, — подумав, ответил я.

— Поэтому он и спокоен, — заключил Зайцев, — знает, что, если преступление раскроется, это ему ничем серьезным не грозит.

— Может быть, ты и прав, — сказал я, — только все это на него непохоже. И подумай сам, какие у него могли быть счеты с Никитиным? Что им было делить? За что он мог его убить? Нет. Не похоже все это на правду. Знаешь, у меня такое впечатление, что за этим убийством стоят очень серьезные люди, а Власов или использован как пешка, или вообще ни при чем, просто стечение обстоятельств.

— А гильза в колодце? — спросил Зайцев.

— Да, в конце концов, могли через забор кинуть и нечаянно попасть. А насчет ружья я мог и ошибиться. Я же говорил тебе, что в охотничьих ружьях почти ничего не понимаю. Сроду не был охотником.

Эксперты не обнаружили на гильзе ни одного отпечатка пальцев, а на ружье только старые отпечатки Власова. Эксперт считал, что из этого ружья был произведен выстрел пульей несколько часов назад. Но еще раз повторяю, ни одного свежего отпечатка пальцев вообще. Но и пыли на ружье не было...

Все это казалось мне какой-то неразрешимой головоломкой. Пожалуй, единственное, в чем я не сомневался, — это был сам Егор Егорович. Не мог он совершить убийства. Тем более так продуманно, заботясь о том, чтобы не оставить следов на оружии.

В тот день я решил его больше не допрашивать. Я сказал секретарю, чтобы заготовила повестки для тех двоих, что сегодня утром пили вместе с Власовым, потом наметил для себя еще несколько дел: первое — пойти к Никитиной и поговорить с ней, второе — встретиться с Агеевым (как-никак они были друзьями с Никитиным); третье — еще раз поговорить с племянницей Егора Егорыча и, наконец, встретиться с Леной Прудниковой. Свое последнее дело я рассчитывал выполнить уже в свободное от службы время, после работы.

Мое свидание с Никитиной прошло совсем не так, как я ожидал.

Она встретила меня на крыльце небольшого, ладного дома, построенного Никитиным года три или четыре назад в Овражном переулке. Направляясь к ней, я подготовил заранее несколько вопросов. Первый из них и самый, на мой взгляд, щекотливый, я задал сразу, пока мы проходили в комнату:

— Настасья Николаевна, а почему вы не пошли вчера в кино? Почему Владимир Павлович смотрел фильм один? Он разве не приглашал вас?

Она повернула ко мне бледное, иссушенное страшной ночью лицо.

— Почему вы меня об этом спрашиваете? Разве это ему поможет?

— Это может помочь нам, то есть следствию.

— При чем здесь следствие? — взмолилась она. — При чем здесь все это, когда его нет?

— Не сердитесь, Настасья Николаевна, давайте я лучше сварю кофе. Возьмите себя в руки. Вам необходимо выпить кофе. Вы ведь не спали. — Я понимал, что не имею права на такое поведение, мы не настолько близко знакомы, но она была так плоха, что тут уж было не до церемоний.

Мы прошли на кухню. Она показала мне банку с кофе. Я налил воды в кофейник, поставил на плиту и зажег газ. Никитина села к столу у окна и положила руки на стол, покрытый цветастой, уютной клеенкой. Я открыл банку. Вкусно запахло чуть пережаренным кофе.

Когда вода в кофейнике закипела, Настасья Николаевна встала и заварила кофе. Потом достала из шкафа молоко, печенье, чашки.

Вид ее говорил о том, что она поняла неизбежность и нужность моих вопросов и внутренне собралась, приготовилась отвечать. Меня немного смутило то, что она так быстро преобразилась.

— Настасья Николаевна, — сказал я, отпив кофе, — вы должны понять, что я не из праздного любопытства сижу сейчас здесь и собираюсь терзать вас вопросами. Если б все зависело от меня, то я бы вообще не стал вас беспокоить или, во всяком случае, не сейчас.

Но следствие ждать не может. Нам дорога каждая минута. Мы не знаем, кто преступник. Может быть, сейчас он уже бежит из нашего города. И если это так, то найти его будет намного сложнее. И кто может гарантировать... Вы должны нам помочь.

— Хорошо, хорошо... Я понимаю. Вы можете спрашивать.

— Скажите, пожалуйста, — я повторил свой вопрос, — почему Владимир Павлович был в кино один?

— Я плохо себя чувствовала и поэтому осталась дома.

— Ясно. — Я сделал вид, что этот ответ меня вполне удовлетворил. На самом деле мне показался странным тот факт, что Никитина застрелили в двухстах шагах от дома, а Настасья Николаевна появилась в милиции только двадцать или тридцать минут спустя после убийства. Если она была дома, то не могла не слышать выстрела и всей беготни. Такое настолько редко случается в нашем городе, что просто невозможно было ей не обратить на все это внимания. К тому же, как бы она ни относилась к мужу, но хоть чуть-чуть должна была ждать. Обо всем этом потом, решил я и задал Никитиной следующий вопрос:

— Скажите, Настасья Николаевна, вы не замечали в последнее время за Владимиром Павловичем перемен? Может быть, у него были неприятности, может, ему кто-нибудь угрожал?

— Нет. Кто ему мог угрожать? Но измениться он действительно изменился... Только вряд ли это имеет отношение к случившемуся...

— А в чем, собственно говоря, выражались эти перемены?

— Он стал замкнутым, плохо спал. Часто жаловался на сердце, говорил, что устал от всего...

— Почему у вас не было детей, Настасья Николаевна?

— Это тоже имеет отношение к следствию?

— Нет, вы можете не отвечать.

— Он не хотел ребенка.

— Почему? Материально вы обеспечены хорошо, могли пригласить няньку. Ребенок вас не связал бы.

— Он не хотел. Несколько раз у нас заходили разговоры на эту тему. Я плакала, но он упорно не хотел.

— А чем он объяснял свое нежелание?

— Ничем. Только однажды сказал: «Чтобы иметь

детей, на это нужно иметь моральное право». Я спросила: «Кто же из нас не имеет этого права?» Он ответил: «Я». Ответил так резко и твердо, что я не стала больше его спрашивать.

— Странно, — сказал я, — один из самых уважаемых людей в городе вдруг считает себя не вправе иметь ребенка.

— Он вообще был очень странным человеком, — сказала она задумчиво. — На работе он был обыкновенный, а дома и наедине с самим собой странный. Он, например, не любил ничего долговечного, часто говорил, что неизвестно, кем и чем он будет завтра... Завел на мое имя сберкнижку и откладывал каждый месяц часть зарплаты. И не разрешал мне тратить эти деньги. И вообще он словно временно жил...

— Вам он не рассказывал о своих неприятностях в последнее время?

— Нет... — Она закусила губу. — У него, наверное, было с кем делиться... — Она осеклась, замолчала, испытующе взглянула на меня и поспешила пояснить: — У него всегда было много друзей.

— С Сергеем Сергеевичем он был в дружеских отношениях?

— Да. Он мне не раз говорил, что Агеев — это настоящий друг.

— Вот вы сказали, что он как-то временно жил, как вы думаете, отчего это? Может быть, он боялся неприятностей по службе? Боялся, что его могут уволить, и поэтому велел вам откладывать деньги на черный день?

— Нет, что вы? На службе у него все было хорошо. Его несколько раз хотели повысить, перевести в центр, но он отказывался. Жаловался на здоровье, говорил, что не справится. Отказывался наотрез. И никто не мог его переубедить. Когда я его спрашивала, почему он так поступает, он отшучивался, говорил: «Не по Сеньке шапка». Нет... Дело тут не в работе...

— А в чем же? — спросил я.

Она пожала плечами.

— Все это действительно очень странно... — произнес я, потом спросил: — А где вы были вчера вечером в момент убийства?

Она помедлила секунду, невесело улыбнулась и, отрицательно покачав головой, ответила:

— У приятельницы, Колосовой Валентины Ивановны.

— Она преподает литературу во второй школе? — уточнил я.

— Да, — ответила она очень сухо. — Что вас еще интересует? — Она посмотрела на часы.

— Спасибо, у меня все.

Прощалась она со мной совсем холодно. И поделом. Обидеть подозрением женщину, пережившую горе. Нужно быть последним ослом. Я ругал себя всю дорогу до второй школы. И не переставал ругать, когда вышел оттуда, узнав, что Никитина действительно весь вечер сидела у Колосовой и об убийстве узнала от соседа Валентины Ивановны, ходившего в кино на последний сеанс. Она сразу бросилась в Овражный, но там Никитина уже не было, мы его увезли в морг. Тогда она побежала в отделение.

И все-таки было что-то непонятное в ее поведении. И тот, с моей точки зрения, ненатуральный крик, и то, что он пошел в кино, а она к подруге, и то, что она так быстро успокоилась и довольно обстоятельно ответила на все мои вопросы, тогда как я ожидал рыданий, слез, сбивчивых фраз... «Непонятная женщина», — думал я.

Разобраться во всем этом помог мне Агеев.

Мы стояли и курили в коридоре больницы у открытого окна, в которое заглядывали ветви старого тополя и ложились на подоконник.

— Это прекрасная женщина, — говорил Агеев, жадно затягиваясь сигаретой и пуская тугую струю дыма в окно. — У нее трудная судьба. Владимир Павлович (грешно говорить о покойниках плохо) неважно относился к ней. Может быть, он и любил ее по-своему, не знаю... Он был человек в себе. Такое впечатление, что внутри у него червоточина, что-то такое... Душевная болезнь или изъяз... Он никому не открывался до конца. И мне, разумеется, тоже. Он, дело прошлое, изменял Настасье Николаевне. Она знала об этом. Знала и прощала. И никогда, ни словом, ни звуком не показывала своих страданий. А переживала ужасно. Ревновала безумно. Уж я-то знаю... я видел. Внешне всегда ровная, спокойная, а внутри постоянная мука. Очень хотела иметь детей. Никитин не соглашался. Для нее это было настоящей трагедией. Огромного му-

жества женщина. Редкая, прекрасная, — закончил он очень грустно.

— Как вы думаете, Сергей Сергеевич, это могло быть случайное, пьяное убийство?

— Нет, по-моему, это не случайно. Судите сами, выстрел прямо в лицо, вплотную. Одно дело — убить человека на расстоянии, другое — лицом к лицу. Для этого нужно много злости. Нужна необходимость. Я сам воевал, знаю...

— Вы не помните, когда Никитин последний раз охотился?

— Как же! Я был с ним. Мы ездили на озеро, за шестьдесят километров. На заводской машине. Как раз было открытие сезона.

— А кто еще с вами ездил?

— Да уж не помню. Всего нас было человек десять. Заводские охотники.

— Никитин месяц назад купил пять пуль «турбинка». Он их брал с собой?

— Брал. Это я помню. На следующий день по приезде после утренней зорьки он их расстрелял в лесочке по сухой елке. Хотел посмотреть, что получается. Потом стесал топором ствол и вынул одну пулю. Она в лепешку разорвалась.

— Такой же пулей он и был убит, — сказал я.

— Это точно? — Агеев взглянул на меня с испугом.

— Да, совершенно.

— Какой ужас! Вот судьба...

— Сколько патронов, заряженных «турбинками», расстрелял Никитин?

— Все, что были. Он еще похлопал себя по патронташу и сказал: «Все, больше нету, а дробь пригодится для уток». Это я хорошо помню.

— А сколько было патронов?

— Не знаю, — он развел руками, — не считал. Знаю только, что расстрелял он все. Это как-то запомнилось.

---

## Глава VII

Вечереет в нашем городке рано. Стоит солнцу опуститься за горизонт, как сразу, без перехода, на улицы опускается темнота. Уличные фонари почти не освещают. Скорее, наоборот, подчеркивают тьму. Окна одноэтажных домиков тоже не дают света. На каждом



окне висит плотная полотняная занавеска, стоят горшки с геранью и столетником, и свет из комнат не пробивается наружу. Оттого по вечерам на улицах нашего города неуютно. Хочется в дом, за полотняную занавеску, где двигаются тени, бормочет телевизор, вкусно пахнет жареной картошкой с луком.

Я шел пешком через весь город к Лене Прудниковой. Шел и думал о том, что вчера в это время убийца тоже, возможно, проходил по этой улице, топал каблуками по этому мостику, глядел на эти освещенные окна. Кстати, куда он делся сразу после выстрела? Выйти на Первомайскую он не мог. Там были люди, возвращающиеся из кино. Значит, путь у него был один — по Овражному переулку до Зеленой улицы, расположенной параллельно Первомайской, а там направо, к Керосинному переулку. Почему именно к Керосинному? А куда же? Ему нужно было положить ружье на место. А потом? Если убийца Егор, значит, потом он лег спать или притворился, что спит. Ну тут уж дудки, станет он притворяться! К этому времени в независимости от количества принятого его так и тянет к подушке. А если он был трезв? Тогда мог и притвориться. Вряд ли, он вчера был пьян крепко, в этом нет никакого сомнения. Его похмельный вид говорит сам за себя. Станный человек, на втором допросе, который проводил Зайцев, конечно, в моем присутствии, он вел себя совсем по-другому. Был вызывающе груб, бранился, проклинал всю милицию на свете и все отрицал. И чем больше Зайцев предъявлял ему улики, тем злее становился Егор. Не испуганнее, не беспокойнее, как и следовало быть настоящему преступнику, а злее.

— Когда вы последний раз стреляли из ружья? — спросил Зайцев.

— Не помню, — равнодушно буркнул Власов.

— Точнее.

— Говорю, не помню.

— А эксперт считает, что последний раз вы стреляли вчера вечером.

Егор только на мгновение задумался, а потом сказал:

— Пошли вы со своим экспертом...

— А этот предмет вам знаком? — спросил Зайцев, поставив на стол гильзу, найденную в колодце.

— Что вы мне мозги сушите, нашли занятие.

— А как вы нам объясните тот факт, что эта гильза была обнаружена в вашем колодце?

— Тебе, начальник, за это деньги платят, ты и объясняй. Чего ко мне привязался? Думаешь, ты все... Король! Да я за тебя, сопляка, кровь проливал, когда ты на горшке сидел, а ты мне в нос гильзой тычешь. Для того тебя, дурака, учили...

И тут Егорыч понес... Всем досталось на орехи. Зайцев чуть не лопнул от злости. Меня Власов совершенно уничтожил, стер с лица земли. А я окончательно убедился, что он не мог совершить преступление, он не мог убить. Да и Зайцев засомневался. Когда Власова увели, Зайцев перевел дух, подышал свежим воздухом у открытого окна, покурил и сказал:

— Похоже, ты прав. Убийцы такими не бывают. Но факты... А с другой стороны, за что ему было убивать Никитина? Может, так, по пьяной лавочке?

Лена явно готовилась к встрече со мной. В комнате было прибрано. Мать она отослала. Так бывало и раньше, когда я приходил к ней в гости. Да и сама она привела себя в надлежащий вид. Волосы ее были тщательно причесаны. Она кивнула мне на кресло и спросила:

— Есть хочешь?

— Хочу.

— Люблю сговорчивых людей, — сказала Лена.

— Я не сговорчивый — я голодный.

— Тогда я сделаю тебе яичницу с салом.

Я помыл руки и прошел в кухню. Сало шипело на сковородке и источало фантастический запах.

— Ты хоть завтракал сегодня? — спросила Лена.

Она сидела, подперев голову руками, и с грустью наблюдала, как я уписывал яичницу.

— Завтракал точно, а вот пообедать не успел.

— Горишь на работе, — усмехнулась она.

— Загоришь тут. Такое дело. Сроду у нас не было ничего подобного.

— Ну и как успехи, — спросила она, — нашли убийцу?

— Нет пока...

— Хотя на след-то напали?

Я пожал плечами.

— Понимаю... — многозначительно сказала она, — служебная тайна. Внимание! Враг подслушивает.

— Да ладно тебе. И так я измотался... А почему ты не пошла с Никитиным в кино? — спросил я.

— А почему я должна пойти? — Она удивленно подняла брови. — Разве хождение в кино с начальством входит в обязанности секретарши?

— Не надо, — спокойно сказал я, — мы же взрослые люди. Расскажи, что у вас с ним было.

— Ничего!

— Так уж и ничего?

— А ты шпионил? — Она деланно рассмеялась. — Боже мой, ты шпионил, выслеживал. Ты прирожденный сыщик.

— Что у вас было с Никитиным? — спросил я твердо.

Улыбка исчезла. Ее лицо стало злым.

— Как прикажешь понимать тебя? Это вопрос?

— Ну что ты... просто интересуюсь...

— Было, — сказала она ледяным тоном, — все было. Все, что ты себе можешь представить!

— Так... Ну рассказывай.

— Прикажешь с подробностями?

— Какие же вы, бабы, злые, — сказал я, не скрывая раздражения. — Ты что, не можешь по-человечески? Или ты хочешь, чтобы эти вопросы тебе задавал Зайцев? Ты помнишь его? Позапрошлый год мы у него были на дне рождения.

— Это такой высокий, громкий, с большим носом? — уточнила она.

— Да, громкий, с большим носом.

— Ты презираешь меня, да?

— Зачем ты...

— А что мне было делать? Ты меня замуж не берешь... Так и пропадать? А он умный, великодушный. И какой-то беспомощный. Я его даже, может быть, и не любила, просто жалела. Началось с ерунды. Попросила его что-то привезти из Москвы. Он туда ездил в командировку. Сама заболела. Он и пришел навеситить, принес покупку и еще вино, шоколад, безделушки всякие. Посидели, поболтали. Спросил разрешения заходить. Что ж мне, отказать? И так одна, одна... Вечерами, а вечера у нас долгие....

— Это было после того, как мы разошлись?

— Да.

— Ты на юг в этом году ездила с ним?

— Да.

— Слушай, зачем тебе все это нужно было?

— Скучно, Боря. Скучно здесь жить. Уеду я...

— А если я тебя замуж возьму, тебе будет веселее? — попробовал пошутить я.

— Теперь уж я не пойду за тебя. Теперь у нас совсем ничего не выйдет. Ничего! Уеду я отсюда.

— Где ты была вчера вечером? — спросил я после долгой и тягостной паузы.

— Дома валялась в постели, с матерью ругалась. Она мне мораль читала.

— А почему в кино не пошла?

— Не было настроения. Надоели мне все.

— И чего тебе не живется по-человечески? — сказал я с сожалением. — Институт бросила... работаешь черт знает кем, а в нашей школе учителей не хватает.

— Может, чаю поставить? — предложила она.

— Ты уж прости, некогда, еще одно дело нужно проверить.

— Меня уже проверил?

— Да.

— Только за этим и приходил?

— Да.

— А просто так, без дела зайдешь?

Я пожал ей руку и почти выбежал из дома.

Мне не терпелось проверить одну догадку, мелькнувшую во время разговора с Леной. Я добрался до Дома культуры, потом медленным шагом двинулся вниз по Первомайской, стараясь представить себе, как шли дружинники. Короче говоря, я провел тщательный хронометраж событий того вечера и выяснил, что с момента убийства до того момента, когда Афонин и Куприянов увидели Егора Власова входящим в дом, прошло одиннадцать-двенадцать минут, и никак не больше.

Я вернулся на место убийства. Засек время и медленно, прихрамывая, как Власов, прошел на Зеленую улицу и потом вверх по Зеленой до Керосинного, затем по всему Керосинному до дома Егора на углу Первомайской. Зашел во двор, пошарил под ступенькой крыльца. Ключа там не оказалось. Надя была уже дома, в окнах горел свет. Стараясь не шуметь, я медленно и неловко, как это делает Власов, поднялся на крыльцо, открыл воображаемый замок и посмотрел на часы. Двадцать две минуты. Быстрее Власов пройти этот путь не мог.

Значит, если убил он, то его никак не могли уви-

деть входящим в дом через двенадцать минут после выстрела. У меня прямо отлегло от сердца. Вот дурак Егорыч, почему он говорит, что с семи часов спал дома! Сказал бы, где был, и все. Вот ведь упрямый человек! Не иначе за всем этим скрывается дама, которую он не хочет компрометировать. Ну уж теперь я принципиально выясню, где он шлялся до одиннадцати... Не могли же ошибиться сразу два человека. Ясно, они его видели, а он, дурья голова, отрицается и не подозревает, чем ему грозит вся эта история. И, с другой стороны, его можно понять. Небось думает, невинного не осудят, а там сами разбирайтесь, вам за это деньги платят.

Назавтра я провел следственный эксперимент, разыграл всю сцену в лицах. Не было только Куприянова, он с утра поехал в область за венками. Дружинники воспроизвели весь свой маршрут. Афонин тоже с большой аккуратностью воспроизвел события той ночи. Оказалось, что он ходит гораздо быстрее, чем я предполагал. Вышло всего одиннадцать минут. Потом я повел Егорыча. Беспощадно торопил его, вогнал в пот. Он прошел свой путь за двадцать пять минут.

Никаких сомнений быть не могло. Афонин еще раз подтвердил, что слышал стук двери и даже краем глаза видел входившего Власова.

Потом я отвез Власова в отделение. Когда мы с ним остались одни в моем кабинете, я в сердцах грохнул кулаком по столу и закричал на него:

— Долго ты мне будешь голову морочить? Давай выкладывай! Где ты был позавчера до одиннадцати часов?

Он сидел согнувшись, курил папиросу и смотрел в пол. Потом загасил окуроч, поднялся и сказал, тыча пальцем в бумаги, лежащие на моем столе:

— Пиши давай. Ну, бери ручку и пиши. Я, Егор Власов, признаюсь, что убил... — Он прокашлялся. — Никитина. — Потом сел и добавил: — Из ружья.

Я, ничего не понимая, смотрел на него. Власов отвернулся и повторил:

— Пиши! Я, Егор Власов, признаюсь, что убил Никитина Владимира Павловича.

— Брось, Егорыч, — неуверенно сказал я. — Будет тебе дурака-то валять. Что ты, на самом деле, с ума спятил? Зачем врешь? Дело серьезное, а ты как ре-

бенок, честное слово. То не хочешь сказать, где был, а то вообще черт знает что болтаешь. Иди, брат, отдохни. Я к тебе приду через часок. Вот, на самом деле, вместо того, чтобы помочь, голову морочит как маленький.

Егор не двинулся с места. Он не смотрел на меня. Мне даже сделалось неловко. Я решил его припугнуть. Взял в руки бумагу, положил перед собой, открыл ручки и сказал строгим голосом:

— Гражданин Власов, повторите ваши показания, я занесу их в протокол.

Он повторил.

Я отложил ручку и пошел в дежурку к Дыбенко за сигаретой. Там я отвел его в сторону и сообщил новость.

— Ну да! — изумился он. — Не может быть.

— Пошли, сам услышишь.

Дыбенко сел за мой стол, чтобы записывать показания.

— Гражданин Власов, расскажите все по порядку, — сказал я официальным тоном.

— Ничего не помню, — мрачно ответил Власов.

— Как же вы говорите, что убили, раз вы ничего не помните?

Я поймал взгляд Дыбенко. «Ну, я так и знал, что этим кончится», — говорили его глаза.

— Что убил, помню точно, а что было раньше и потом, не помню, начисто, как отрезало. Ничего больше не помню.

— А за что же вы его убили?

— Злой был — вот и убил.

— Злой вообще или только на Никитина?

— Только на него.

— Почему?

Егор некоторое время молчал. Видно было, что он напряженно думает. Потом твердо ответил:

— Он меня, инвалида, с завода выгнал как собаку. Не посмотрел, что друзья, что воевали вместе.

— Да разве за это убивают, Егорыч? — изумился Дыбенко. — Э-эх, — вздохнул он, — и плетешь же ты!

— Я плету, а ты расплетаешь, если хочешь. Такая у тебя должность. И вообще все! Хватит! Проводите меня на фатеру мою, на нары. Полежать хочу. Устал я от вас.

— Подпишите протокол, гражданин Власов.

Я протянул ему ручку. Он взял ее, покрутил, рассматривая, будто диковину, и круто, размашисто подписался под протоколом. Потом прочитал его, утвердительно кивнул головой и пошел к дверям.

---

## Глава VIII

На следующий день состоялись похороны Никитина. Народу собралось много. Траурная процессия заполнила всю Первомайскую улицу. Гроб с телом Никитина почти через весь город несли на руках друзья и близкие покойного. Среди них были постаревший за эти дни Агеев, Куприянов в черном костюме с торжественным лицом, а за ним, склонив голову на плечо, шел Афонин.

Я присоединился к процессии. Рядом с собой увидел Настасью Николаевну. В группе работников завода и вместе с тем несколько поодаль шла Лена. Увидев меня, она сдержанно кивнула и опустила голову. Вероятно, она не хотела, чтобы кто-нибудь, в том числе и я, видел ее слезы.

На кладбище говорились речи. Много хороших слов сказали люди о Никитине. Его жена стояла в изголовье закрытого гроба и не спускала с него глаз.

Я вернулся в отделение и стал звонить по телефону в областную прокуратуру. Связался с Зайцевым. Изложил ему обстановку. Он долго молчал. Соображал. Слышно было, как он сопит в трубку.

— Надо же такое, — сказал он. — А я уж было поверил в его невиновность... А он сам признался. Может, вы там на него нажали, я имею в виду морально?

— Да нет. Никто его за язык не тянул...

— А что же ты такой скучный? Радоваться должен. Помнишь, я тебе говорил, что Власов уверен в своей безнаказанности, потому и храбрится, хамит. Вот видишь, я оказался прав.

— Ты всегда прав, — сказал я грустно. — Только все-таки он никак не мог оказаться у своего дома через одиннадцать минут после убийства. А его видели именно в это время. Разве только у него крылья выросли... Он там мог быть только через двадцать пять минут. Самое маленькое через двадцать две.

— Вечно ты что-то придумываешь, Сохатый. В кон-

це концов, преступник признался сам. Все улики против него. Чего еще тебе нужно? Передавай дело в суд, и конец. Чего ты хочешь?

— Я хочу узнать, кто убил Никитина и за что.

— Большой оригинал! — сказал Зайцев в сердцах и бросил трубку.

— Кто убил и за что?

Собственно, эту фразу можно расчленить на два вопроса. Первый: кто убил? Второй: за что? Как ответить на эти два вопроса? С чего начать? Первая версия оказалась ложной. Она отодвинула следствие на три дня. Может быть, позволила преступнику уйти. Сколько раз давал себе зарок не поддаваться первому впечатлению! Не пользоваться фактами и уликами, лежащими на поверхности. Настоящая улика обычно достается с большим трудом, с потом. А тут что получается? Но почему же Власов признался в несовершенном преступлении?

Я пошел в изолятор временного содержания. Власов лежал на нарах, повернувшись к стене.

— Егорыч, — позвал я его, — спишь, что ли?

Он пошевелился, но так и остался лежать лицом к стене.

— Слушай, зачем тебе это нужно? Ты понимаешь, что ты валишь на свою голову?

Никакого ответа.

— Мне приказывают передавать дело в суд.

Он даже не шелохнулся.

— Ну, как хочешь, Егорыч, только ты это зря. Я тебе ничего плохого не сделал. Я только выполнял свой долг.

Сев за свой стол, я положил перед собой листок бумаги. В левом углу написал «КТО?», в правом — «ЗА ЧТО?». Долго думал, прежде чем занести в левую графу «Пуля». Я записал это слово и подумал, что нужно будет с Агеевым съездить на место охоты и осмотреть ствол и, если там окажутся всего четыре пули, а не пять... А разве не может быть такого, что Никитин один раз промахнулся? Впрочем, нужно все равно узнать точный список всех, кто ездил на охоту. Будет хоть маленькая зацепка.

Что еще можно записать в левую графу? Писать больше нечего... Впрочем, постой... Убийца использовал



ружье Власова и подбросил в его колодец гильзу. Почему именно Власов понадобился ему? Очень просто. Тот все время пьян и спит. Удобно. Выходит, убийце еще и повезло, что мы сразу направились по ложному следу. А если он достаточно хорошо знал Власова, то ему нужно было опасаться, что на Егорыча мы никогда не подумаем. Власов частый гость у нас в милиции, беззлобный человек... Следовательно, убийца должен был как-то направить следствие, оставить какой-нибудь ясный маяк. А он ничего этого не сделал. Мы действительно никогда не подумали бы на Егорыча, если б его по стечению обстоятельств не увидели в ту ночь. Вель только благодаря этому я нашел в его колодце гильзу и осмотрел ружье.

Итак, следствие зашло в тупик. Впрочем, это не совсем точно. Мне стало ясно, что путь, по которому оно шло, был ложным и кончался тупиком, следовательно, нужно было начинать все сначала.

Все факты, касающиеся убийства, оказались несостоятельными, а новых фактов не предвиделось вообще. Нужно было снова и снова выискивать причины преступления.

Предлог был достаточно благовиден: после Никитина остались дела, и кому-то нужно было привести их в порядок. Я созвонился с областью и попросил прислать мне опытных товарищей из ОБХСС.

Зайцев, узнав об этом из третьих уст, по-дружески выговорил мне по телефону. Он вообще был сторонником решительных мер, мой старый приятель Зайцев.

Приехали ребята из ОБХСС. На заводе они предъявили какие-то бумаги из управления, из торгова и еще откуда-то и назвались специальной комиссией. Словом, они выступали инкогнито. Немножко подсмеивались над своей ролью. Они привыкли, что их удостоверения и непреклонный вид производят некоторое впечатление. Об этой таинственности попросил я.

На второй день выяснились любопытные обстоятельства. В течение последнего полугодия с завода исчезла неучтенная продукция на сумму в тридцать с лишним тысяч рублей. Помог обнаружить эту пропажу Афонин, начальник посудомоечного цеха. Он вел по личной инициативе какие-то свои стариковские заметки, где учитывалась каждая вымытая бутылка. Количество вымытой посуды не сходилось с количеством наполненной и вывезенной. Пришлось ребятам из ОБХСС акку-

ратно проверить количество стеклянного боя. Для этого они организовали внеочередной вывоз боя на соседний стекольный завод, а уж там взвесили.

Потом ребята наугад копнули бумаги прошлого года, позапрошлого. И там несоответствие. С Афонина взяли слово. Он поклялся молчать до поры до времени. А уж чего ему это стоило, я догадываюсь.

Мы созвонились с областью, и там сделали внезапную и строго направленную ревизию в нескольких магазинах, которые получали водку прямо с завода, и в других тоже. В двух магазинах удалось обнаружить лишнюю водку, не значившуюся ни в каких бумагах.

Товарищи из областного ОБХСС сделали все возможное, чтобы информация о ревизиях не просочилась на завод.

Пойманные, как говорится, с поличным завмаги не были стойками и упирались на дознании не очень долго. В тот же день стало известно, что лишний товар доставлял исключительно Куприянов... Да, да, примерный работник, член месткома, однополчанин Никитина, шофер Куприянов Николай Васильевич. Деньги получал тоже он. По три рубля за бутылку, включая стоимость посуды.

А вечером того же дня стало известно самое главное.

Мы сидели с Дыбенко, курили и молчали, потому что уже все было сказано. Тут вошли ребята из ОБХСС. Они сели рядом с Дыбенко.

— Ну вот, а вы волновались... — сказал Коля Потапов, старший инспектор ОБХСС. А просто инспектор Баташов Володя согласно кивнул.

— Мы не волновались, — возразил Дыбенко.

— У нас сюрприз, — сказал Потапов и посмотрел на Дыбенко.

— Руководствовал во всех водочных делишках убийный Никитин, царствие ему небесное.

— Не может быть, — сказал Дыбенко.

— Может или не может, а есть.

Потапов достал из синенькой папки бумаги.

— И об этом здесь все очень точно прописано.

— Ну-ка? — недоверчиво сказал Дыбенко.

— Ради бога, — великодушно произнес Потапов и протянул Дыбенко бумаги.

Это известие в равной степени и ошеломило, и обрадовало меня. Теперь, по крайней мере, прояснились возможные причины преступления. И всплыло новое лицо, причастное к этому убийству. Притом уже не в качестве свидетеля, а в качестве предполагаемого участника. Это был Куприянов.

---

## Глава IX

На следующий день, получив санкцию на обыск у Никитиной, я направил туда Дыбенко. Что я только не передумал за то время, пока проходил обыск!

Когда Дыбенко вернулся, моя фантазия разыгралась уже до предела. Я приписал Никитину столько грехов, что их хватило бы на десятерых.

— Мы ничего не нашли, — сказал Дыбенко. — Пусто. Больше того, у меня такое впечатление, что Никитин и зарплату домой приносил не полностью. Есть кое-какие сбережения. Сберкнижка на имя жены. Взносы делались раз в месяц по маленькой, очень маленькой сумме. Что-нибудь рублей пятнадцать-двадцать, не больше.

— Во дворе, в сарае смотрели?

— Да. Ничего. Пусто.

— А как Никитина?

— Плохо. Для нее это...

— Ясно. Что вы ей сказали?

— Сказали, что так нужно для следствия. Помому, не очень-то она поверила. Конечно, все это не совсем красиво. У нее ведь горе как-никак.

— Выходит, что или он так спрятал деньги, что вы не нашли, или...

— Или не брал? — усмехнулся Дыбенко.

— Или не брал.

— Идейный жулик, — сказал Дыбенко. — Это новость. Работал за идею, жил на зарплату.

— А может, и не за идею, — сказал я. — В общем, теперь нужно брать постановление на обыск у Куприянова. И давайте вместе подумаем. Предположим, что убил Куприянов. Нет-нет, — предупредил я жест Дыбенко, — только предположим. Причины пока не будем выяснять, они потом раскроются.

Итак, представим себе, что Куприянов решился на убийство. Допустим, что другого выхода у него не бы-

ло. Естественно, он подготавливает преступление так, чтобы против него не было никаких улик, тем более если есть время на подготовку. Судя по всему, Никитин убит его собственной пулей, а похитить у него эту пулю могли только на охоте, если, конечно, исключить те пули, которые купили мальчишки для грузил. Но у пацанов такой товар в кармане не залеживается. Они впрок не покупают. Сейчас купил и сейчас же сделал то, для чего купил. Отсюда вывод, что преступление готовилось за полмесяца, следовательно, у Куприянова было время спокойно подготовиться.

— Ну и что? — спросил Дыбенко. — Даже если предположить, что он готовился полгода, а не полмесяца, все равно для нас мало что меняется. И так с самого начала было видно, что убили не сгоряча, раз даже отпечатков на ружье мы не обнаружили. Готовились к этому делу будь здоров как. Только нам от этого не легче, а скорее наоборот.

— Не совсем так, пожалуй... Слушай дальше. Прежде всего Куприянов должен был позаботиться об алиби, потом об отпечатках и прочих уликах, потом о нас, то есть составить полный набор улик против Егора Власова. Это еще раз говорит о том, что все очень тщательно и задолго готовилось. Он знал, что мы не успокоимся, не закроем дела, пока не найдем убийцу, поэтому ему показалось мало одного алиби, и вот он подготовил нам готовую кандидатуру. Но тут он действительно мог опасаться, что мы даже ружье у Егора проверять не будем. Оно, по-моему, у него не зарегистрировано. Значит, он должен был нас как-то подтолкнуть, подсказать, мол, а Егора-то вы забыли. Ну-ка проверьте его повнимательнее. Кто нам указал на Власова?

— Афонин, — сказал Дыбенко, — в том-то и дело, что указал нам Афонин.

— Вот именно, в том-то и дело. Куприянову было выгодно сделать это чужими руками. Кстати, ты помнишь показания старика?

Я достал протокол.

— Вот смотри, что Афонин говорит. Первым заметил Куприянов и сказал об этом ему.

— А не кажется тебе, что это уж чересчур, — улыбнулся Дыбенко. — Допустим, Куприянов все подготовил, это еще можно, но как он мог сделать так, что Егор именно в это время входил в дом?

— А он не входил.

— А что же он делал?

— Спал...

— Кто же тогда входил? Тогда выходит, что был еще один соучастник?

— Может быть, и еще один. А может, и никто вообще не входил...

— Как так?

— А так. Читай, что Афонин говорит. Видишь, ему Куприянов сообщает об этом как будто вскользь, между делом, заостряя внимание не на том, что Егор входит в дом, а на том, что, вот, дескать, где-то его черти таскают. Непохоже на него. У старика, естественно, не было оснований сомневаться в правдивости его слов, он тут же оглядывается, и ему кажется, что он видит, как закрывается и хлопает скрипучая дверь. Куприянов был уверен, что как только мы найдем гильзу и проверим ружье, так про дверь забудем, поэтому и оставил это место в своей подготовке уязвимым. В общем, дверь-то, думал он, — это не улика, и поэтому надеялся на авось. Так оно и случилось бы, если б это было не единственным свидетельским показанием в этом деле. И еще одну ошибку он допустил, но это из-за отсутствия профессиональных навыков. Со временем он просчитался, а именно это и дало нам доказательство невиновности Егора.

Кстати, насчет двери. Она у Егора не стучит и не скрипит. Он ее содержит в порядке, чтобы от племянницы бегать незаметно. Я на другой день сам проверял. Совершенно бесшумная дверь.

— А почему молчал?

— Не до этого было, — ответил я и усмехнулся. — Берег для случая. До лучших времен.

— Что ж, ты его сразу подозревал, я имею в виду Куприянова? — удивился Дыбенко.

— Я всех подозревал, пока не убедился в их невиновности. А Куприянов до сих пор не убедил меня в этом, а ведь старался. Помнишь, как он подробно расписывал свое алиби? Ведь тогда его об этом никто и не спрашивал.

— Ну хорошо, а как он мог все успеть? — спросил Дыбенко. — Ведь ему нужно было зайти к Егору, взять ружье, обежать по Зеленой и встретить Никитина. А потом вернуться, повесить ружье на место и появиться в клубе. Ведь он же смотрел кино и вышел со всеми.

— Что же, — спокойно ответил я, — вопрос серьезный. Дело в том, что он вышел немного раньше...

— Откуда это известно?

— Я выяснил у контролерши. Незадолго до конца сеанса, минут за десять, за пятнадцать, сказала она, кто-то вышел. Мужчина, кто именно, она не заметила, потому что сама сидела в зале. Картина шла первый день, и она, усадив народ на места, осталась по-смотреть.

— А это ты когда выяснил?

— После первой встречи с ним.

— И ты, наверное, думаешь, что поступил нормально по отношению ко мне? — обиженно спросил Дыбенко. — Почему ты мне раньше не рассказал?

— А если б я был не прав?

— Ну и что? Все равно мог бы поделиться. Вдвоем-то легче.

— Вдвоем легче работать, когда есть факты. А когда одни догадки и предположения, то все по-другому... Вдвоем можно так увлечься какой-то идеей, что невинного человека усадить на скамью подсудимых.

Дыбенко замолчал, прошелся по кабинету.

— Ну а пуля?

— Пуля тем более ложится на эту версию. Куприянов выкрал ее во время поездки на охоту. Я думаю еще раз послать гильзу на экспертизу. На ней должны быть следы машинного масла и бензина. Наши эксперты, наверное, не обратили на это внимания. Приняли за производственные остатки. Нужен очень тонкий анализ.

Вот почему, дорогой мой Дыбенко, я не хочу пока настаивать на аресте Куприянова. К тому же я не хочу ему давать возможность отсидеть за хищение и укрыться этим самым от обвинения в убийстве. То, что он воровал, это ясно. И никуда он не денется. У нас есть свидетельские показания завмагов, а вот то, что он убил, доказать будет сложнее. Тем более если мы его арестуем и тем самым заставим мобилизоваться, приготовиться к активной защите.

---

## Глава X

Я позвонил на завод и вызвал к себе Куприянова.

Через несколько минут его машина затормозила под окнами отделения милиции.

— Здравствуйте, — сказал Куприянов вежливо и остановился у порога кабинета.

— Здравствуйте, Николай Васильевич. Побеспокоил я вас. Проходите, присаживайтесь, что же вы стоите? Есть интересная новость. Вообще-то нельзя никому рассказывать, но вы же не посторонний человек. И я надеюсь, что вы меня не подведете. Строго между нами.

— Конечно, — заверил меня он. — А в чем дело?

— Власов наконец признался, — сказал я, доверительно склонившись к нему через стол.

— В чем признался? — переспросил он.

— Как в чем? В убийстве, — сказал я, удивляясь его непонятливости.

Некоторое время он молчал, потом отрицательно покачал головой.

— Этого не может быть, — произнес он отдельно и отчетливо.

Мне показалось, что голос у него дрогнул, мне даже почудился вздох облегчения.

— Этого не может быть, — повторил Куприянов, — произошла какая-то ошибка. Не мог Егор убить. — Теперь его голос звучал свободно, как-то раскованно.

— Какая может быть ошибка, — обиженно сказал я, — как-то нехорошо вы говорите, Николай Васильевич. Вот у нас есть протоколы с его подписью. — Я похлопал по стопке бумаг у себя на столе, где никаких протоколов не было.

— Как же это так? — Куприянов недоуменно развел руками. — Знал его всю жизнь. Никогда бы не подумал... Вы меня совсем огорошили. Как же он его?

— Да очень просто: подстерег около дома и выстрелил из ружья.

— Невероятно...

— А вы еще своей головой ручались...

— Да кто же знал?

— А я вас по делу вызвал, — сказал я.

— Всегда готов, — оживленно ответил Куприянов, — что за дело?

— Собственно говоря, дела целых два. Начнем по порядку. Первое. Мы с вами в прошлый раз разговаривали, так сказать, неофициально. Протокола ваших показаний у нас нет. Конечно, вы очень помогли следствию, но нужно соблюсти все формальности. Повто-

рите, пожалуйста, как вы видели Власова в день убийства.

— Я приехал в клуб на машине и оставил ее сзади у черного хода, — начал рассказывать он.

Я автоматически записывал его слова и думал о том, что его опять никто не просил рассказывать все с самого начала. Я его спросил только о Власове. Он мне слово в слово повторил историю со свечой. Но перебивать его я не стал.

— ...Я и гляжу, он поднимается на крыльцо, — рассказывал Куприянов, — ну и сказал об этом Афонину. Мы с ним вместе шли в Овражный.

— Вы не могли ошибиться? — спросил я и внимательно посмотрел на него.

— Нет, — не задумываясь, ответил Куприянов, — это был он, я же видел, как он хромал по лестнице. А так, конечно, разве впотьмах разглядишь? Я тогда и не знал, что он после такого дела идет. Я бы сразу к вам пришел, а то еще защищал его... Бывает же... Голову прозакладывал. — Он невесело усмехнулся.

— Вот здесь подпишите, — сказал я, протягивая ему протокол.

Он внимательно прочитал и подписался. Вычертил свою фамилию полностью, аккуратным почерком.

— А второе дело к вам как к члену месткома. Вы не можете вспомнить, кто ездил на открытие охоты к озеру? На какой машине?

— Да я же их и отвозил, — сказал Куприянов. — А охотников всех, конечно, не припомню сейчас. Но можно у них же и спросить. Покойный Владимир Павлович ездил с нами, Агеев, Исаков Игорь Алексеевич — главный инженер завода, еще кто-то... Если очень нужно, я могу порасспросить и список сделать.

— Пожалуйста, Николай Васильевич, очень нужно.

— А для чего? Тоже по этому делу? — осторожно спросил Куприянов.

Я ожидал этот вопрос, я его очень ожидал.

— Да нет, это совсем по другому поводу. Там что-то с лицензиями напутали; из охотничьего общества просили разобраться. У нас ведь не одно это дело. Скучать не приходится. — Я поднялся и протянул Куприянову руку. — Теперь все. Спасибо за помощь, не буду вас больше задерживать. До свидания.



Я сходил в дежурку, привел Славу Дыбенко к себе в кабинет и усадил за свой стол. Дыбенко взглянул на показания Куприянова.

— Это только что ты написал?

— Да. Прочти внимательно.

— Ты смотри, — сказал Дыбенко немного погодя, — все-таки он видел Власова. Даже разглядел, что он хромает по ступенькам.

— Он, брат, все разглядел, — сказал я и затянулся сигаретой. — Крыльцо-то выходит в переулок, и, чтобы увидеть человека на нем, нужно находиться как раз посередине переулка. Афонин оглянулся, как он мне сам показал, уже почти пройдя переулок. А ширина его, сам знаешь, метров двенадцать. Вот и получается, что, пока они быстрым шагом прошли эти шесть метров, Егор успел взойти на крыльцо, отпереть дверь, да черт с ней, с дверью, предположим, что она уже была отперта, и войти в дом. Да он дверную ручку спяну ищет полминуты. И к тому же никогда не оставляет дом незапертым. А знаешь, как он быстро от Егора отсекся? Говорит, знал бы, откуда идет, сразу к вам явился. Он даже не спросил, за что убит Никитин. Как говорится, слона-то я и не заметил. Самое главное не спросил. То, что должно в первую очередь интересоваться нормального человека. Зато как он насторожился, когда я заговорил об охоте! Ты бы видел, даже побледнел.

Тем же вечером мы проверили Афонина. Я, беседуя с ним о Никитине, провел его по Первомайской мимо Керосинного переулка. Дыбенко в это время поднялся на крыльцо Власова и вошел в дом, хлопнув дверью. Афонин и ухом не повел, да и мне-то было не очень слышно. Когда мы прошли некоторое расстояние, я спросил у него:

— Вы сейчас что-нибудь слышали?

— Да вроде бы ничего особенного, — сказал Афонин и пожал плечами. — А что было-то?

---

## Глава XI

Мы совершенно не знали, что делать с Егором Власовым. Он стоял на своем. На допросы я его больше не вызывал. Каждый день заходил к нему в камеру. Егор

отмалчивался. Был непривычно трезв и угрюм. Только однажды спросил о племяннице. Не произошло ли с ней чего. Я успокоил его и в тот же день разрешил ей навестить Егорыча. Он заплакал, когда она вошла в камеру.

Куприянова мы с тех пор ни разу не вызывали. Он сам забеспокоился и позвонил мне. Сообщил, что составил список охотников. Я поблагодарил его и сказал, что все уже обошлось. Он поинтересовался, когда суд и вызовут ли его как свидетеля.

— А как же, — ответил я.

— Жалко, — сказал он, — а я уж в отпуск собрался. Путевку мне дали на Черное море.

— Ничего не поделаешь, — сказал я, — это не от меня зависит. Я бы с доброй душой.

Я съездил к озеру, где последний раз в жизни охотился Никитин. В стволе, как я ожидал, было всего три пули и след от четвертой, которую Никитин вынул из дерева. Агеев указал мне место, с какого стрелял Никитин. Расстояние было метров пятнадцать. Промахнуться трудно.

Потом мы долго ползали на четвереньках и искали стреляные гильзы. Нашли четыре штуки. Они были точно такими, как и та, найденная в колодце. Мы собрали их. Как только вернулся в город, я послал все пять гильз с нарочным в областное управление для более тщательной экспертизы в кабинетных условиях. Результаты оправдали мои надежды. На той самой гильзе были обнаружены следы бензина и машинного масла. На других, разбухших от росы и дождя, ничего, кроме птичьего помета, обнаружить не удалось. Эксперты еще раз подтвердили, что эти гильзы, все пять, из одной партии.

Стало ясно, что Куприянов украл патрон с пулей в ту поездку на озеро. И все-таки против него не было ни одной прямой улики.

Я стал внимательно изучать биографию самого Никитина. Сначала по личному делу, изъятому из отдела кадров завода. Долго вчитывался в его автобиографию. Но ничего заслуживающего особого внимания я из этих

бумаг не почерпнул. Только общие факты, даты. Родился он в нашем городе в тысяча девятьсот двадцать первом году. Закончил школу. Поступил в Московский пищевой институт. С третьего курса пошел на войну. Призывался в нашем городе, как раз только что приехал на каникулы. Воевал до последнего дня. Закончил войну в Берлине. Вернулся в институт. После диплома некоторое время работал в Москве, сразу продвинулся по службе, был переведен в областной город, потом по личной просьбе сюда. Словом, ничего особенного. Только одно меня немного насторожило. Почему он так стремился в наш маленький городок? Что это? Тяга к родным местам? Почему он бросил хорошую должность в областном центре и приехал сюда? Почему он и в дальнейшем наотрез отказался от повышения? Ответить на все эти вопросы могла только Никитина. Я направился к ней.

Она открыла дверь и молча пропустила меня вперед, в комнату.

— Незваный гость хуже татарина, — с напускной веселостью сказал я. — Опять к вам. Наверное, уже надоел, но ничего не поделаешь, служба...

Она промолчала. Я остановился в дверях. Никитина подошла к столу и взяла в руки кусок материи. Видимо, она занималась шитьем, и мой приход помешал ей. Некоторое время мы оба молчали. Я стоял у дверей облокотившись о стену. Она шила, искоса поглядывая на меня с нескрываемым раздражением. Я первый нарушил это неприятное молчание. Не двигаясь с места, я сказал:

— Не все в нашей работе, Настасья Николаевна, можно сделать, не запачкав рук. Не все получается тактично, тонко, чутко. Собственно говоря, сама работа такая. И дело мы имеем с людьми, которым совершенно наплевать на такт, совесть, честь и даже на уголовный кодекс. С ними нельзя работать в белых перчатках, обходиться полумерами — это логика борьбы. Я понимаю, что говорю прописные истины, и я понимаю, что они не всегда верны. Я не оправдываюсь. Я хочу, чтобы вам было ясно: мы ищем преступника, убившего вашего мужа. Преступник должен быть найден.

— Проходите же, — сказала она, не отрываясь от шитья. — Что вы застряли в дверях? Садитесь.

Я сел напротив нее.

— Ну что вам теперь нужно? — спросила она.

— Я и не знаю, как вам сказать.

— Скажите как есть.

— Мне нужно кое-что выяснить о жизни Владимира Павловича.

Она горестно вздохнула и отложила шитье.

— Ну что с вами делать? Пойдемте на кухню пить кофе.

Выпили по чашке кофе, поговорили на посторонние темы. Никитина решительно прервала нашу светскую беседу:

— Что вы все вокруг да около? Давайте задавайте свои вопросы.

— Скажите, Настасья Николаевна, — сказал я, осмелев, — Владимир Павлович вам никогда не говорил, почему он переехал в наш город из областного центра с хорошей, перспективной должности?

— Разговор такой у нас был, — произнесла она задумчиво. — Еще давно, как только мы поженились. Я была молодая, и, помню, мне тогда страшно хотелось уехать из этого города. Мне казалось, что я пропаду здесь от тоски. Знаете, в молодости всегда так думаешь. И все время я его упрекала за то, что он перебрался сюда. А когда я узнала, что сделал он это по своей доброй воле с большим трудом, его не хотели отпускать с прежней работы, то можете себе представить: разозлилась ужасно. Стала требовать, чтобы он перевелся обратно. Спрашивала, почему так поступил. Он отшучивался. Так ничего толком и не объяснил. Говорил что-то о родине, родном доме и все такое. Этот его поступок так и остался для меня загадкой. Да и не только этот...

Вот еще странный поступок. Как-то одно время я стала замечать, что с деньгами у нас стало хуже. Стало не хватать. Что такое, думаю, может быть, он получает меньше? Однажды он собирался на работу, спешил и выронил из бумажника корешок перевода. Я его заметила, когда Володя уже ушел на работу. Подняла, хотела положить на его стол. Машинально прочла. И, представьте, даже ноги подкосились. Смотрю, на корешке написано: Зориной Т. И., в адресе указан наш город. Что же со мной случилось... До сих пор вспоминать стыдно. В тот же день окольными путями я все выяснила: Зорина оказалась пожилой женщиной, одинокой, муж и сын погибли на фронте.

Я положила корешок на видное место. Володя пришел с работы, увидел эту бумажку, скорее спрятал ее в

бумажник, заметил, что я смотрю на него. Смутился, покраснел, словно я застала его за чем-то нехорошим, и объяснил, что эта женщина мать его однополчанина, погибшего на фронте, что она бедствует, что нужно ей помочь. Я его спросила, почему он скрывал это от меня. Я бы ничего не имела против. И лучше было бы через исполком похлопотать за нее, у него ведь там друзья. Он покраснел еще больше и сказал, что не хочет все это афишировать, что хлопотать он не любит и не будет. И просил, причем очень настойчиво просил меня никому об этом не рассказывать. Вот такой он был странный...

Мы помолчали.

— Вы знакомы с Куприяновым? — спросил я.

— С Николаем Васильевичем?

— Да.

— Как же, знакомы. Он заходил к нам. Они с Володей были однополчане. Вместе воевали, вот Володя и помогал ему.

— Чем помогал?

— Когда Володя жил в областном центре, Куприянов пришел к нему и попросил помочь с жильем. Уже не помню точно, с жильем или с работой. Мы тогда еще только встречались с Володей, и я приезжала к нему в гости. Вот при мне и произошла их первая встреча после войны. Сколько воспоминаний было... Потом Володя и сюда перетянул Николая Васильевича, к себе на завод. И деньгами он помогал Куприянову. Вот опять странность. Давал не скупился, а как тот уходил, начинал злиться. Дня три ходил чернее тучи. Я ему как-то сказала, мол, если не хочешь помогать — не помогай. В конце концов, это же не долг твой помогать вполне взрослому, работоспособному человеку только потому, что ты с ним вместе воевал. Он очень рассердился на меня, накричал, сказал, что это не мое дело и что я слишком глупа, чтобы разбираться в таких вещах, как долг.

— Скажите, а в последний раз когда у вас был Куприянов?

— Недели за две до смерти Владимира Павловича.

— Вы не могли бы подробнее рассказать об этой встрече?

— Я, собственно, при этом не присутствовала. Они явились вдвоем и сразу прошли в Володину комнату. Потом через час или полтора вышли. Я предложила

ужин, кофе, но Николай Васильевич сразу попрощался и ушел.

— И это все? А в каком они настроении прощались?

— Вот-вот, именно этому я удивилась. Обычно визиты Куприянова действовали на Володю как-то угнетающе, а в последний раз было все наоборот. Куприянов ушел хмурый, а у Володи было прекрасное настроение. Он весь вечер был какой-то легкий, торжественный, даже немножко воодушевленный. Я удивилась этому про себя, но выяснять, в чем дело, не стала.

---

## Глава XII

Татьяна Ивановна Зорина жила на самой окраине города, в тех местах, где я был всего лишь несколько раз за семь лет. Улочка была совсем маленькой и одним своим концом упиралась в кирпичную стену мастерских Сельхозтехники.

Домик Зориной примыкал вплотную к стене. Видимо, он и строился с таким расчетом, чтобы сэкономить на материалах

Зорина, высокая, сухая старуха, встретила меня равнодушно. Она копала картошку на крошечном огороде и, когда я подошел к ней, встала, опершись обеими руками на выпачканные землей и зеленью ботвы вилы.

— Вы Татьяна Ивановна Зорина?

— Это я.

— Я из милиции, моя фамилия Сохатый... Я к вам по делу...

Она молчала и смотрела на меня без всякого любопытства.

— У вас сохранились документы сына? — спросил я.

— Сына?.. — переспросила она.

— Да.

— Так он умер...

— Я знаю, но у вас должны быть его документы, фотографии, похоронное свидетельство.

— А зачем же вам?

— Нам нужно...

— Тогда в дом пойдемте.

Она воткнула вилы под картофельный куст, и я слышал, как хрустнул пронзенный клубень, вытерла руки о ботву и пошла к дому. Я за ней.

Документы у нее хранились в клеенчатой обложке общей тетради. Листы все давно уже были вырваны. Находилось все это за подновленной суриком иконой, изображающей Николая Чудотворца.

Она раскрыла тетрадь, потом спохватилась и вышла на кухню, побренчала рукомойником, вымыла руки и только тогда села перебирать бумаги. Достала похоронную. Я прочел типовой листок: «Младший лейтенант Зорин В. К. героически погиб, защищая...» Дата и прочее.

— У вас нет его писем с фронта? — спросил я.

— Есть письма, есть, — ответила она и деловито осмотрела пачку бумаг. Вытащила сложенные треугольничком, по-фронтовому, листки, исписанные карандашом.

В письмах Зорин справлялся больше о здоровье матери. Слова были ласковые, заботливые. О себе писал мало. Почти ничего. В последнем, судя по датам, его письме я нашел для себя кое-что интересное. Зорин писал: «...Здесь со мной воюют товарищи из нашего города. Чудно! До войны я их и не знал, а тут в моем взводе оказались, как специально. Ребята хорошие. С ними можно в огонь и в воду. Один из них даже студент. Воюем хорошо! Сейчас на отдыхе...»

Студент? Никитин? Скорее всего. Больше вроде из этого города студентов не было на фронте.

— Татьяна Ивановна, а вам не случалось получать по почте денежных переводов?

— От кого? От сына?

— Нет, просто переводы. Уже после войны, без обратного адреса.

— Были переводы. Я еще дивилась — от кого?

— У вас ведь тогда туговато с деньгами было?

— Да как всегда, вроде не жаловалась. Мне хватало. Пенсию за сына и мужа получала, да и сама работала. Хватало. Много ль мне надо? Все есть. Картошка своя, какой огурчик, капуста, всего понемножку.

— Вы не знаете, кто посылал деньги?

— Откуда ж мне знать? Там не написано. Я уж на почту сходила, там ничего толком не сказали. Сперва и не трогала их, так и лежали в комод, а потом уж подумала: чего им лежать, раз мне присланные?

— Сколько всего было переводов?

— Точно-то не припомню... Так вот у меня бумажки почтовые остались.

Она достала бумажки. Их было семь, на общую сумму 1400 рублей старыми деньгами.

Я уже выходил из дома Зориной, как услышал ее приглушенный плач. Заглянул в окно, она лежала на кровати лицом в подушки.

Почему Никитин помогал Зориной и Куприянову? Ничего плохого в этом не было, наоборот, очень трогательный факт. Человек заботится о судьбе однополчанина и о матери погибшего друга. Но ведь она не была в бедственном положении, как он говорил жене. Допустим, можно объяснить тот факт, что делал он это инкогнито, тогда непонятно другое: почему он так заботливо опекал вполне здорового Куприянова и не обращал никакого внимания на Власова, тоже однополчанина, инвалида, действительно находящегося в трудном положении?

Я проведаль Егорыча и спросил: не помогал ли ему Никитин деньгами. И вдруг Егорыч разговорился:

— А чего он мне должен? Один раз по старой дружбе попросил у него взаймы, на опохмелку, и то отказал. Говорит, нету!..

Я удивился и обрадовался тому, что Егорыч наконец-то заговорил, и решил воспользоваться моментом.

— Что у Никитина с Куприяновым за любовь такая была? — спросил я вроде между делом.

— Рыбак рыбака видит издалека, — ответил Егор.

— Что между ними общего могло быть? Никак не пойму. Да ты ведь и не знаешь, Куприянов-то у нас рядом с тобой сидит, через стенку, может, вас в один изолятор поместить, все веселее будет.

— Куда весело! Прямо цирк. А за что ж вы его?

— Да не мы, а ОБХСС. Хищение. Левую водку возил с завода и сдавал в магазины, а там она шла как положено. Деньги в карман. Ловко?

— Давно пора... — сказал Егорыч и насупился.

— А ты что, знал об этом?

— Знать не знал, а догадывался. Это вы можете только со мной дела делать, а когда человек с головой, так под вашим носом хоть весь завод вывезет и налево спустит.

— Нет, брат, это ты заливаешь. Не мог ты догадываться. Куприянов человек тонкий, осторожный, общественник. По нему, брат, ни о чем не догадаешься. Разве по нему определить, что это он убил Никитина?..

Реакция Егора на мою последнюю фразу была ошеломляющей. Он вскочил с табуретки, на которой спокойно сидел до этого, вскочил так стремительно, что табу-



ретка, задетая протезом, загрохотала и отлетела в угол камеры. В его глазах я увидел сильный испуг, почти ужас. Он, очень сильно хромя и стуча деревяшкой по полу, стал ходить из угла в угол. На лбу у него и на верхней губе выступила испарина. Я молча наблюдал за ним.

— Ему уже сказали, что он подозревается в этом деле?

— В каком? — с напускным равнодушием спросил я.

— В убийстве, — прошептал Власов, остановившись на мгновенье.

— Нет пока. Еще не все улики собраны...

— Слушай, начальник, пришли ко мне племянницу сегодня. Очень прошу, пришли.

— Сегодня уже поздно, а завтра сама придет. Что это тебе приспичило?

— Пришли, как человека прошу.

Он вдруг заплакал, прислонившись лбом к стене. Потом ладонью вытер слезы. Повернулся ко мне и твердо сказал:

— Пришли. Вели, чтоб пришла. А то беда с ней будет. Может, уже...

— Знаешь что, Егор, брось дурака валять, племянницу твою мы в обиду не дадим, а ты садись и рассказывай все по порядку.

— Не могу я, — сказал он тихо, — сперва вели ее привести. Где хочешь найди. Потом все расскажу...

— Ну, хорошо, Егор, — сказал я мягко. — Не волнуйся, сейчас найдем ее.

— И еще вели кому-нибудь ко мне в огород зайти. Знаешь, у меня там перед уборной старый резиновый сапог валяется. В этом сапоге, внутри, пусть посмотрят. Там деньги...

Войдя в мой кабинет и увидев Наденьку, Власов бросился к ней, обнял ее и снова заплакал. Потом успокоился, заметил на столе пачку денег и спросил:

— Все здесь? Должна быть тысяча.

— Все. Садись, Егор, — сказал я и подвинул ему стул. — Курить будешь?

Он отрицательно мотнул головой.

Вошел Дыбенко. Молча сел на диван, заложил ногу на ногу и закурил. Воцарилось молчание. Только было слышно, как Дыбенко с шумом выпускает дым. Нако-

нец Егорыч посмотрел на Наденьку и кивнул ей на дверь.

— Ты, Надюша, подожди в коридоре. Только не уходи. У нас тут разговор есть. Тебе лучше не слушать.

Надя вопросительно посмотрела на меня. Я пожал плечами, мол, видишь, уже не я командуя... Подчиняйся.

Она вышла в коридор. Мы остались вдвоем. Дыбенко все так же шумно курил, а Егор, видимо, ждал от меня вопросов.

О чем его спрашивать? Что он может сообщить нового? Хотя деньги... Откуда они у него?

Егорыч тихонько откашлялся и заговорил:

— Месяц или более тому назад пришел ко мне Куприянов. Принес бутылку. Распили мы ее. Разговорились. Вспомнили войну, товарищей, которые погибли. Помянули их. Потом про живых разговор пошел. Кто сейчас где, на каких должностях и все такое о семейном положении. Под такой разговор я еще за бутылкой сбегал. Начали мы ее, а он мне и говорит: «Эх, Егор, Егор, вот ты, — говорит, — здоровья лишился, а что с того имеешь? Пенсию? На что она тебе годится, — говорит, — на два дня, ну на неделю. А разве тебе за твои заслуги такая пенсия положена? Обидели тебя». Я говорю, мол, ничего, а на что мне деньги, ведь все равно пропью-прогуляю. Мало денег — мало пью, много денег — много пропью. Уж такой характер, ничего не попишешь. И неизвестно, что лучше. С больших-то, говорю, денег здоровья последнего скорее лишишься. Алкоголизм!.. А он говорит: «И правильно, что пьешь. Ты полное право имеешь. Это когда сопляки пьют, то их надо учить, а тебе и слова никто говорить не должен. И насчет денег верно. Зачем они тебе самому? Вроде и незачем, только вот племянница...» — «А что племянница?» — говорю я. «А то, что не век же ей с тобой жить. Ей замуж нужно. А куда она пойдет? Голая, можно сказать, и босая. Дом развалюха. Она на свои семьдесят и так крутится... Родителей нет, и помочь ей некому».

Меня эти его слова резанули очень больно. Аж к горлу подступило. Попал он прямо в точку. И продолжает: «Сирота, конечно, кто ее возьмет. Это на один ремонт дома жизнь всю положишь. А был бы ты на работе, так все лишняя копейка была бы. Все помог бы... Да, брат, — говорит, — это только нам и не везет, кто чуть жизни на войне не лишился. А другие на

фронте легким испугом отделались и сейчас жить умеют, деньги лопатой гребут, да нам с тобой не дают. Так-то вот. Знаешь, какими делами ворочает наш директор Никитин, дружок наш бывший?»

Я говорю: «Откуда мне знать? Да, уж, наверно, немалыми делами он заправляет. И на бедного вроде не похож». — «А тебе, мне — своим кровным приятелям — он хоть копейкой помог? Как же. Тебя последнего куска хлеба лишил».

Тут он оглянулся, вроде чтоб никто не услышал, и сказал мне шепотом: «У них тут целая шайка. Водку цистернами налево пускают...»

Ну я, понятно, возмутился, вот, говорю, сволочи, а Куприянов поддакивает.

Выпили мы еще по стаканчику, и такая меня злость разобрала. Тут уж всех понес со звоном. Излаялся вдосталь. Потом он мне и открылся: «Я, — говорит, — к тебе по делу пришел, от одних людей. Они тебе кое-что предложить велели. Только, Егор, сам знаешь, ни живой душе, а то такие неприятности себе выхлопочешь...» — «Что же за такое за предложение?» — спрашиваю я его. Он и говорит: «Тут надо по порядку. Люди эти имели всякие связи с Никитиным, деньги, короче говоря, вместе с ним зашибали. Огромные деньги. А тот их или подвел, или только собирается под монастырь подвести. Вот они и решают его... того... убрать. Как, когда? Ничего не знаю. И предлагают тебе, если милиция эту историю раздует, взять дело на себя. Мол, затмение нашло и сам ничего не понимаю. Убил, а за что — не знаю. Тебе-то что? Судить и то, наверно, не будут. Подлечат в больнице и выпустят. Полгода проваляешься, как фон-барон, на казенных харчах — и вся недолга. За то тебе отвалят тыщонки три. И на водку до самой смерти хватит, и племяннице будет нелишнее».

Как я на него кричал, выгонял, уж и рассказывать не буду. Вы меня всякого видели, а только он сидит себе спокойно и не чешется. Потом по-другому повернул: «Еще, — говорит, — велели передать, что если не согласишься или вздумаешь стукнуть, то тебя не тронут. Кому ты нужен?! А с племянницей кое-что произойдет. Убить не убьют, а хуже — изуродуют, сделают калекой безобразной, и пусть живет потихоньку».

Тут я враз протрезвел. Еще водку пью — не берет.

«Что ж, — говорю, — мне самому в милицию идти, коли что случится, или как?»

Он говорит: «Не беспокойся, сиди дома, они тебя найдут».

Вот такой разговор у нас был, начальник. И это все. Деньги он уже тогда оставил. Остальное потом. И ничего я не мог поделать. А потом, когда вы меня взяли, я уж и совсем смирился. Думаю, раз они все так против меня подстроили, так и делать мне нечего. Скажи я, что хочешь, никто не поверит...

Он замолчал. Мы переглянулись с Дыбенко.

— А где же ты все-таки был в тот вечер? — спросил я.

— Дома, как и говорил, спал.

Мне стало очень обидно. Я попросил у Славы Дыбенко сигарету и молча выкурил ее. Потом я сказал Власову:

— Ну и дурак же ты, Егор, после всего этого. Мы здесь с тобой нянчимся каждый вечер, домой тебя доставляем, как министра, на машине, а ты «не поверят»! Дурак!

— Точно, дурак! — подтвердил Дыбенко. — Неблагодарный человек.

Егор молчал и смотрел в окно. По его небритым щекам, застревая в кустистой, седой щетине, катились редкие слезы.

— Только вы Наденьку поберегите, — сказал он немного спустя.

Я похлопал его по плечу.

Дыбенко протянул ему стакан воды и, когда тот выпил, тоже похлопал Егорыча по другому плечу и сказал:

— Ты сейчас ступай спи, смотри не подкачай. Будем на днях делать очную ставку.

— Да, — сказал я, — у нас на тебя большие надежды. Против Куприянова только косвенные улики, все прямые, — я усмехнулся, — против тебя...

---

### Глава XIII

Казалось бы, признание Егора поставило последнюю точку в бесконечной веренице наших догадок и предположений. По всем правилам мы должны были вздохнуть с облегчением, взяться за Куприянова. Тем более что мы понимали: оставлять Куприянова как предпола-

гаемого убийцу на свободе мы не имеем никакого права.

И все же что-то в этом деле не давало нам успокоиться. Бескорыстие Никитина, какая-то ниточка, уходящая далеко в прошлое, в войну... и вообще вся странная жизнь Никитина, его дружба с Куприяновым, начавшаяся задолго до войны. Все это не укладывалось в рамки банального случая — вор у вора дубинку украл... Нет, это был явно не тот случай.

Арест Куприянова упростил бы и вместе с тем усложнил дело. Упростил тем, что мы могли спать спокойно, зная, что убийца не гуляет на воле. Сложности возникли чисто психологического, если так можно выразиться, характера. Было понятно — раз убийство совершено не в состоянии аффекта, а, напротив, хорошо продумано, тщательно подготовлено и хладнокровно выполнено, значит, Куприянов будет защищаться до последнего. И именно его арест лишает нас немаловажного преимущества внезапности, тем более что арестовать Куприянова мы могли только по обвинению в хищениях. Улик для обвинения в убийстве у нас не хватало даже для постановления об аресте. Свидетельские показания Егора Власова, которые может отвести любой мало-мальски уважающий себя адвокат ввиду невинности свидетеля, да еще наши предположения — это, пожалуй, все, чем мы располагали. Поэтому Куприянов, оказавшись в изоляторе временного содержания, естественно, мобилизуется, соберется и будет отрицать все, что касается убийства, признавая свою виновность в хищениях. Но мы не могли оставить убийцу на свободе.

И первый же вопрос полностью подтвердил наши опасения.

Куприянов явился в мой кабинет спокойным.

Со скрипом уместился на табурете. Выполнив определенные формальности, я задал ему первый из наиболее важных для меня вопросов:

— Почему вы решились на преступление?

Он немного помолчал, очевидно собираясь разглядеть подвох в моем вопросе.

— А как вы думаете, почему люди вообще идут на преступления?

— Это слишком сложный и общий вопрос, — ответил я, — меня интересует именно вы. При обыске у вас были обнаружены деньги — двадцать девять тысяч пятьсот двадцать рублей. Вот акт. — Я протянул ему

акт. — Это примерно столько, сколько вы выручили в результате всех махинаций. Притом в вашем доме мы не нашли никаких ценных вещей. Только самое необходимое. Короче говоря, денег вы не тратили. Почему? Что вас вынудило воровать?

— Это несерьезный вопрос, гражданин следователь.

— Хорошо. Какие суммы приходились на долю Никитина?

Куприянов пожал плечами.

— Вот заключение ОБХСС, из которого видно, что все хищения совершались при его участии.

Куприянов внимательно прочитал заключение. Последовала долгая пауза.

— Никитин денег не брал.

— Это мы тоже знаем. Почему не брал?

Куприянов усмехнулся.

— Спросите у него.

— Мы бы рады, Николай Васильевич, да вы лишили нас этой возможности.

— Вон вы куда?

Спокойная уверенность в себе исчезла. Куприянов погрузился. Именно погрузился. Даже какая-то тоска, боль появилась в его глазах.

— Все, гражданин следователь. На сегодня все. И завтра не вызывайте, разговора не выйдет.

Назавтра я не мог не вызвать его. Но разговора действительно не получилось.

Я оперировал всеми своими догадками и предположениями. Но даже фактом, что его, Куприянова, видели выходящим из кинотеатра за десять минут до конца сеанса, мне не удалось его смутить.

— Там было темно. И не надо играть со мной в кошки-мышки. — Он отмахнулся так, словно не в этом дело, так, будто его раздражают эти пустяки. — Предположим, что убил Никитина я... Но у вас нет ни одного стоящего доказательства, и не будем морочить друг другу голову.

Не прошло и трех дней, как Куприянов попросился на очередной допрос и признался в убийстве.

Причины?

Никитин решил порвать с Куприяновым и явиться к прокурору с повинной.

Несколько раз, сопоставляя факты, хронометрируя события той злосчастной ночи, мы проверили показания Куприянова. На этот раз все складывалось точно.

И все же меня не оставляло ощущение незаконченности. В глубине души я не верил Куприянову. Не верил в бескорыстие Никитина. Смущала меня простота разгадок.

И снова допросы, невзирая на звонки из области, на упорство Куприянова, на недоумение прокурора и моего непосредственного начальства.

И опять неожиданно, как бы независимо от моих усилий, Куприянов вдруг заговорил:

— Это долгая история. Враз не управимся. Кое-что подзабыл. Улетело из памяти. В чем-то еще сам не разобрался. Буду путаться — поправляйте.

Долго и трудно мы шли к истине. Нелегкой работой это было для меня и мучением для Куприянова. Здесь я приведу рассказ Куприянова, подвергнув его некоторой литературной обработке, так как пересказывать все протоколы было бы утомительно.

---

**Рассказ Куприянова, записанный мною с некоторыми дополнениями и обобщениями**

Во второй школе их считали неразлучными. Хотя никто толком не понимал, что же их связывает, что общего могут иметь первый ученик Никитин и троечник, увалень, нелюдимый Куприянов. Да и можно ли было называть это дружбой?

«Его не любили в классе, — рассказывал Куприянов. — Он долго был один. Доставалось ему от ребят частенько. Да и за дело. За ним была кличка Высочка, так и звали его Вовочка-Высочка. Любил он везде быть первым. А какое там первым, когда ниже всех ростом, да и подраться не умел. Правда, учителям не жаловался, когда его поколотят... Терпел. Вот он и старался головой взять. И верно, больше его у нас в классе никто не знал».

Однажды здоровяк Куприянов заступился за Вовочку. Заступился просто так, не из жалости, а скорее нечаянно. Он шел мимо дровяных сараев, за которыми обычно происходили все перекуры, срочные совещания, выяснения отношений и экзекуции, увидел, что опять за что-то бьют Никитина, остановился посмотреть и потом лениво произнес: «Кончайте вы это дело». Куприянов никого в классе и пальцем не тронул, к нему с подобными вещами никто и не приставал, настолько оче-

видным было его физическое превосходство. Разумеется, ребята тут же прекратили бить Вовочку, а Куприянов, не оглядываясь, пошел дальше. За ним, вытирая на ходу расквашенный нос, поплелся Никитин. Так они прошли почти весь город. Потом Никитин догнал Куприянова и дотронулся до рукава: «Хочешь, пойдем ко мне?»

Вот так и началось их более близкое знакомство. Я сознательно не называю их союз дружбой, потому что под этим словом подразумевается общность: общие интересы, цели, наклонности, словом, что-то общее. У Никитина и Куприянова за все три года, проведенных вместе, общими были только маршруты их передвижений по школе, по городу, за городом. Вовочку устраивало, что теперь никто не мог пальцем его тронуть и даже косо посмотреть в его сторону. Он наконец избавился от ощущения собственной слабости, неполноценности, от постоянной боязни быть поколоченным. Он окончательно утвердился в мыслях, что самое главное в жизни — это иметь голову на плечах, а там всегда найдется физическая сила, чтобы защитить тебя или сделать за тебя тяжелую работу.

И Куприянову пришлась по душе эта роль постоянного спутника и телохранителя. Ему теперь не надо было думать об уроках. Он всегда мог списать у Вовочки. И если ему удавалось сделать это без ошибок, то приличная оценка была обеспечена. А за устные предметы он не боялся. Он обладал прекрасной памятью и даже, не давая себе труда осмыслить, понять то, что говорится учителем, мог повторить за ним урок слово в слово. Но соединить слова, фразы, которые автоматически запечатлевались в его памяти, привести в систему и применить на деле информацию, которой он владел, этого он не мог. Кроме того, теперь Куприянову не приходилось заботиться и о досуге, о развлечениях. Он просто шел туда, куда шел Никитин, и ему было весело и интересно.

«С ним было хорошо, но иной раз, — вспоминал Куприянов, — на него находило... Тогда с ним становилось трудно. Он делался какой-то дерганный. Кричал, командовал. И все с какой-то злостью, будто специально над мной издевался. Он же знал, что я не ослушаюсь... Так у нас было. Он говорил, а я слушался... До сих пор в толк не возьму, почему так получалось. Иной раз я с удовольствием слушался, а другой раз не хотел, а слушался».



Никитин после окончания школы уехал в Москву поступать в институт. Там у него появились новые знакомые, другие заботы, и он просто и легко забыл Куприянова. Через Володиных родителей Куприянов достал его адрес и после долгих колебаний написал ему письмо, где сообщал приятелю, что выучился на шофера и в скором времени собирается в Москву в командировку и что хорошо было бы увидеться. Никитин ему не ответил, и Куприянов, оказавшись в столице, не стал его разыскивать.

Встретились они на войне. Судьбе или случаю было угодно среди огромной войны свести в одной роте четверых земляков. Они держались вместе.

Осенью сорок первого наши войска вели тяжелые оборонительные бои. Отступали. Усталые, оборванные, шли солдаты на восток.

Во взводе лейтенанта Зорина не доставало более половины личного состава. Боеприпасы были на исходе.

Они отходили на восток. Они были последними. Земля, по которой они шли, убегала назад и становилась чужой. Шаг за шагом.

Перед лесом дорогу пересекал глубокий овраг. Мостик, перекинутый через него, был сожжен саперами. Лейтенанту Зорину было приказано занять оборону в овраге и задержать головную немецкую колонну. В приказе не говорилось, на какое время нужно задержать противника. Взвод выполнил приказ. Тридцать два часа горстка израненных, плохо вооруженных людей удерживала врага. Вся фашистская военная машина споткнулась о непреклонность и мужество двух десятков солдат, защищающих свою землю.

К исходу вторых суток во взводе Зорина остались три человека, четыре противотанковые гранаты, одно целое противотанковое ружье (ПТР) и пачка патронов к нему. Были еще винтовки и несколько полных обойм. В предрассветной тишине где-то далеко на одной низкой ноте звучала канонада, изредка прошиваемая четкими строчками пулемета.

Впереди, перед оврагом, темнели закопченной броней одиннадцать сожженных фашистских танков.

Небо медленно светлело.

— Сейчас начнется, — прислушавшись, сказал Зорин.

Куприянов сидел согнувшись, положив голову на

сложенные руки, и дремал. Никитин с беспокойством выглядывал из-за бруствера, сооруженного по кромке оврага.

— Вот черт, — сказал Зорин, посмотрев на часы, — а на моих все еще два часа ночи. В самый бой шли, и хоть бы что, а тут на тебе, встали. — Он потряс рукой и приложил часы к уху. — Стоят, чтоб им пусто...

— Где теперь наши? — сказал Никитин. — Наверное, уже далеко ушли. Как теперь догонять будем?

— Догонять?! — Зорин усмехнулся. — Ничего, догоним, Володя. Догоним...

Куприянов молча посмотрел на командира и начал копаться в подсумках.

— Сейчас начнется, — повторил Зорин.

Все трое уже отчетливо слышали гул приближающихся танков.

— Если отходить, то сейчас, — сказал Куприянов и посмотрел в сторону леса, — потом поздно будет.

— Разговорчики!.. — сказал лейтенант. — Приказа никто не отменял. Ясно?

— Так точно, — ответил Куприянов и стал выкладывать обоймы винтовочных патронов из подсумков в лунку справа от себя.

— Но это бессмысленно, — сказал Никитин. — Десять минут уже ничего не изменят. А дольше мы не продержимся. Нас только трое.

Зорин, высунувшись из окопа, молча смотрел в бинокль.

— Но это бессмысленно, — повторил Никитин и взглянул на Куприянова, ища в нем поддержки. Куприянов сосредоточенно заряжал ПТР. — Нас же только трое! — крикнул Никитин. — Только трое!!!

— Рядовой Никитин, — спокойно и не отрываясь от бинокля произнес лейтенант, — еще слово, и я расстреляю вас как дезертира.

Никитин побледнел. У него затряслись губы. Винтовка, которую он держал прикладом к ноге, дрожала, и было слышно, как вызванивает о ствол металлическая пряжка на винтовочном ремне.

Куприянов обернулся на этот звук и увидел, как Никитин медленно поднимает винтовку в сторону Зорина.

Гул приближался. Уже были видны черные точки танков, то исчезающие в лощинах, то появляющиеся на буграх. Уже был слышен лязг металла. Уже головные танки прибавили скорость.

...И увидел, как Никитин медленно поднимает винтовку в сторону Зорина.

Раздались выстрел и отчетливый хлопок, словно по воде ударили палкой. Куприянов видел, как лопнула туго натянутая гимнастерка на спине лейтенанта и стала медленно окрашиваться кровью. Зорин качнулся вперед, выронил бинокль, повисший у него на груди и оперся руками о землю. Лейтенант оглянулся, и Куприянов встретился с его удивленным взглядом. Удивление так и осталось на лице командира. Ртом хлынула кровь, яркая и теплая, от нее пошел пар. Колени подогнулись, и он тихо осел на землю. В глазах лейтенанта Зорина растаяла жизнь и осталось удивление.

Никитин стоял, опустив винтовку к ноге. В кончике ствола застрял клубок дыма.

Танки приближались. С каждым мгновением они становились больше, неумолимее.

Никитин отшвырнул винтовку и сел на корточки.

— Мы все трое здесь остались бы...

Куприянов промолчал.

— Это бессмысленно! — крикнул Никитин. — Пойдем, пойдем, — торопливо заговорил он. — Лес недалеко, мы еще успеем. Так лучше. Это бессмысленно. Мы еще успеем уйти, нам надо уйти... — Чем больше говорил Никитин, тем увереннее становился его голос, тем больше он верил в правильность своего поступка. — Мы выполнили приказ. Мы все сделали, а теперь нужно уцелеть. Раз мы остались живы после всего, нужно уцелеть, нужно еще воевать с пользой, со смыслом. Два — это больше, чем ни одного. Один — это меньше, чем три. — В голосе Никитина уже появились те самые интонации, с помощью которых он когда-то управлял Куприяновым. — Через две минуты здесь будут танки. В лесу они нас не достанут, в лесу, там наши. Пошли!

Куприянов молча поднялся. Они вылезли из оврага и, пригнувшись, побежали к лесу.

Сзади грохотали танки.

Продравшись сквозь густой кустарник на опушке, они оглянулись. Головной танк, покачивая стволом пушки, разворачивался на месте. Потом остальные танки повторили его маневр. И вся танковая атака пошла левее, километрах в полтора от того места, где остался мертвый лейтенант Зорин.

Собственные слова Куприянова:

«Что-то во мне оборвалось тогда. Я это утро помнил всю жизнь, будто это было вчера. Я тогда решил, что уже конец...»

«Вы видели, что Никитин хочет выстрелить в Зорина, почему вы не помешали ему? — спросил я у Куприянова. — Вы могли помешать?»

«Мог. Я тогда думал, что нам конец. А потом увидел, как Никитин поднимает винтовку. Он долго ее поднимал. Я мог остановить его, мог крикнуть, вышибить винтовку, но руки как отнялись. Я сидел и думал, что, может, еще не конец. Сам бы я никогда не убил лейтенанта, а тут видел и думал, что нет, еще не конец, и не мог пошевелиться. И еще я подумал, что нельзя убивать лейтенанта, и еще я подумал, что Володька, наверное, прав, что он всегда прав... Так долго он поднимал винтовку».

Через три дня они пробились к своим. Там, в лесу, на марше, их разбомбили, и Никитин, раненный в правую ногу, попал в госпиталь. После госпиталя его послали в другую часть, осенью сорок первого это было просто, и они больше не виделись с Куприяновым.

«Всю остальную войну я отмотал за баранкой «студебеккера». Был награжден медалями... — вспоминал Куприянов. — Под Курском снаряды приходилось подвозить по минному полю, саперы еще не успели подчистить, мы тогда быстро вперед шли. Пехота прошла по проходу, а потом немцы из гаубиц этот проход раздолбили, и на машине не проедешь. Вот и приходилось на авось по минному полю. Много шоферов тогда подорвалось, а кто остался, тому награды. Мне орден Красной Звезды. Всю войну прошел — и ничего. Царапало, правда, но так... А под Прагой подстерег фаустпатронник... Месяц в госпитале. Оттуда домой. Устроился водителем автобуса в областном центре».

Следующая их встреча произошла через пять лет после войны.

Никитин возвращался с работы. Он попрощался с сослуживцами. Посетовал вместе с ними на то, что с этими бесконечными совещаниями, собраниями, заседаниями домой попадаешь не раньше двенадцати. Пошутил, что молодая жена скоро из дому выгонит, и улыбнулся про себя, вспоминая Настеньку, и как она его ждет, и как беспокоится...

Подошел автобус. За несколько мгновений до того, как распахнулась дверца, у Никитина вдруг совершен-

но беспричинно испортилось настроение. Причем так резко, что в груди стало тяжело и беспокойно. И когда он, взглянув на автобус, увидел на шоферском месте Куприянова, то вроде как бы и не удивился. «Ах вот оно что, — вяло подумал он и машинально потер ладонью грудь слева, — может, лучше не садиться?..» Но в это время его осторожно взяли под локоть и подтолкнули к подножке. Никитину ничего не оставалось делать, как подняться на ступеньку и пройти в автобус. Он устроился на самом заднем сиденье, поднял воротник габардинового макинтоша, надвинул на глаза велюровую шляпу и сделал вид, что задремал. Двое сослуживцев, ехавших с ним, вышли раньше. Никитин протянул им руку, не поднимая головы. Ехать ему было далеко. Они с женой жили на самой окраине. Обычно он добирался на личной машине, но сегодня, как назло, с ней что-то случилось, и шофер обещал, что ремонту не больше, чем на три дня.

«Узнал или не узнал? — думал Никитин. — А если узнал, то что? Просто неловко, что я сразу к нему не обратился... Нужно будет узнать его, как стану выходить. Вот ведь встретились. Как-то неловко вышло. Нужно будет подойти, когда народ выйдет, а то неловко». Так Никитин уговаривал себя, все еще делая вид, что спит. Но втайне он совершенно точно знал, что ничего этого не сделает, что постарается незаметно проскользнуть мимо Куприянова и потом поскорее забыть эту встречу. Втайне он очень надеялся, что Куприянов не узнал его. И не в страхе тут дело. Чего ему бояться? Во-первых, если Куприянов и мог донести, то наверняка сделал бы это раньше, и его, Никитина, уже нашли бы и наказали бы, если действительно виновен, а во-вторых и в главных: было ли все это? Или привиделось в горячке непрерывных боев? Он так старательно отбрасывал от себя те самые воспоминания, что со временем ему действительно казалось, что ничего этого не было, а только приснилось в коротком окопном сне.

Он, чуть приоткрыв глаза, выглядывал из-под шляпы и видел широкую, обтянутую стеганым ватником спину Куприянова. Видел, как тот наклоняется и крепкой рукой двигает блестящую ручку, открывая и закрывая дверь. В то время вход и выход был один — мимо водителя.

«Я-то сразу его узнал, как только подъехал к остановке. Смотрю, стоит такой важный, в шляпе. Только и

он меня узнал. Как посмотрел, так и узнал. Ну, думаю, большим начальником стал. Теперь ему зазорно со мной здороваться на людях. Потом гляжу: его эти двое, что с ним ехали, сошли. Ну, думаю, сейчас подойдет поздоровается. Он сидит. Ведь узнал же. Я сам видел, что узнал».

Последняя остановка.

Никитин подошел к двери. Широкая промасленная рука легла на рукоятку и застыла. Последовала невыносимая пауза, после которой Никитин должен был оглянуться к водителю и узнать. Он бесконечно долго стоял. До последнего момента. Рука спокойно лежала на рукоятке и не двигалась. Стиснув зубы, Никитин оглянулся.

— Почему не открываете?.. — строго начал он, и замолчал, и узнал, и произнес удивленно и неуверенно: — Колька...

— Будет тебе прикидываться, — добродушно сказал Куприянов, — ты же меня еще на остановке узнал...

— Подожди, на какой остановке?

— На какой вошел. Смотрю, нос в сторону и полез в самый конец. Ну, думаю, заелся, друзей не признает.

— Да перестань, мы, понимаешь, шесть часов заседали, мать родную не узнаешь, а тут столько не виделось... Ну как ты? Так давай хоть поздороваемся. Здравствуй!

Он широко размахнулся руками и хотел было обнять Куприянова, но в последний момент сообразил, что на нем светлый макинтош, да и неудобно, стоя одной ногой на нижней ступеньке, обнимать сидящего в глубоком сиденье человека. И он сильно и звонко шлепнул Куприянова по широкой, твердой ладони и крепко, по-мужски пожал ее, вкладывая в это рукопожатие всю радость встречи. А потом долго похлопывал Кольку по плечу и про себя сожалел, что так неудачно вышло с объятием.

— А я здесь живу, — Никитин кивнул головой. — Может, зайдем ко мне? Вон мой дом. Видишь, третий отсюда? Я, брат, женился... Главное, стою и думаю, чего это шофер дверь не открывает, заснул, что ли? Смотрю, а это ты. Давай забежим ко мне. Жена будет рада.

— Нет, — сказал Куприянов, — зайти сейчас не могу, мне в гараж еще, как-нибудь в другой раз. Значит, говоришь, вон тот твой дом, третий?

— Обязательно заходи.

Этот день, вернее, вечер, стал поворотным для Ники-

тина. Его прошлое, от которого он хотел отвернуться, встало перед ним. Он уже почти все забыл, он уже жил легко, сегодняшними заботами, работой, семьей, новыми друзьями, и вдруг эта встреча. Первое, что он ощутил, сойдя с автобуса, был страх. Сильный, безотчетный, неизвестно перед чем. Потом он всю ночь вспоминал войну. Вспоминал те эпизоды, в которых был настоящим бойцом, те бои, за которые ему приходили награды, вспоминал свои раны. Но все равно его война, в которой он победил, которую он начал рядовым, а кончил старшим лейтенантом, кавалером орденов, в которой он прослыл отчаянным храбрецом, не вспоминалась ему победной. Под утро, обессиленный бессонницей, он вышел на кухню и закурил. Присел на холодный табурет и, чувствуя, как между лопатками течет пот, понял, что больше он не сможет обманывать себя.

Понял, что вся война, начиная с того утра 1941 года, была пройдена им во искупление, что вся его храбрость, порой безрассудная, была для того, чтобы доказать себе, что он не трус. Вся его честность тоже для того, чтобы убедить себя в том, что он честный человек и никогда не мог поступить нечестно. И никогда не поступал.

Он понял, что то утро было, и ему никогда его не забыть. Он трус и нечестный человек, как бы он себя ни оправдывал. Как жить дальше? Имеет ли он право жить дальше? Разве может один поступок, совершенный по ошибке, по слабости, зачеркнуть всю жизнь, все добро, которое он сделал после? Разве он недостаточно казнит сам себя? Есть ли наказание тяжелее? Да и имеет ли он право сознательно, сейчас поставить точку, когда можно сделать еще так много полезного, когда он нужен людям, когда ему верят, когда то, что он делает, не щадя себя, необходимо всем? И ведь есть еще Настенька. Она любит его. Он теперь ответствен и за ее жизнь. Что будет с ней, если?.. И главное: разве теперь, когда все произошло, можно ли хоть что-нибудь изменить? Можно ли чем-нибудь помочь лейтенанту?.. У него осталась мать.

А что Куприянов? Через три дня, в воскресенье, Куприянов явился в гости к Никитину. Его встретили радушно. Был устроен стол.

Куприянов в своем новом костюме, в шелковой рубашке салатного цвета, при галстукке выглядел празднично и даже торжественно.

— Так вот вы какой... Большой, сильный. Я вас та-

ким и представляла по Володиным рассказам, — улыбаясь и протягивая ему руку, сказала Настенька и как-то сразу расположила к себе Куприянова.

— Неужто он рассказывал обо мне? — прямодушно удивился Куприянов.

— А как же! Этим он меня и покори́л, когда еще ухаживал, своими рассказами: про школу, про ваши, мягко выражаясь, детские шалости и проказы... Про войну. Как вы там встретились, как воевали. Какой вы были герой.

— Да чего там, — сказал Куприянов, — мы ведь недолго вместе воевали, несколько месяцев. Потом, как из окружения вышли, так и потеряли друг друга. Тяжелое было время. И то удивительно: как это мы там встретились все вчетвером?

— Да... — задумчиво сказал Никитин и посмотрел на Куприянова.

— А кто же четвертый? — спросила Настя. — Ты мне не рассказывал. Я его знаю?

— Был с нами еще один земляк, — сказал Никитин и снова посмотрел на Куприянова, — погиб в сорок первом.

Куприянов, сосредоточенно склонившись над своей тарелкой, закусывал салатом.

Когда Настя зачем-то вышла на кухню, Куприянов оторвался от еды и, не то спрашивая, не то утверждая, тихо произнес:

— Помнишь лейтенанта...

Вошла Настя. Никитин сделал знак глазами, прося Куприянова молчать. Тот снова уткнулся в свою тарелку.

— Что ж вы приуныли, войны? — спросила Настя. — Хоть бы спели что-нибудь.

«В другой раз он сам пришел ко мне в общежитие, — рассказывал Куприянов. — Мы и не договаривались. Он пришел неожиданно. Помню, осмотрелся, покачал головой...

— Так, значит, и живешь? Плохо...

— Не жалуюсь.

— Это не дело, — заявил тогда он и стал быстро устраивать мою жизнь, хотя я его об этом не просил. Даже наоборот — о моей жизни и речи не было. — Я сегодня же зайду к начальнику гаража и председате-



лю исполкома. Поселим тебя в отдельной комнате. Не-гоже, чтобы заслуженный фронтовик жил в таких условиях.

— А что ребята скажут? Чем я лучше других? У нас тут половина фронтовиков. А ты, я вижу, большой начальник стал... Ты за всех так хлопчешь?

— Почему за всех? Ты ведь не все. Мы друзья. Мы должны помогать друг другу.

— Что-то ты, Володька, расхлопотался? Раньше за тобой такого не водилось.

Никитин вдруг замолчал, как споткнулся. Прошелся между рядами аккуратно застеленных коек.

— Мы взрослеем, Коля, начинаем понимать свою ответственность за всех близких... Молодость оттого и беззаботна, что безответственна. В общем, не хочешь, чтобы я за тебя похлопотал, не буду. Может, ты и прав. Но ты должен знать, что у тебя есть друг, к которому ты всегда можешь прийти. Что бы ни случилось.

— Хорошо, если так...

— Ты сомневаешься? — с тревогой спросил Никитин.

— Очень уж неожиданно я к тебе в друзья попал. Вроде всю жизнь были приятелями от нечего делать, а тут вдруг друзья... Скажи по совести, Володька, может, ты это просто со страху? Боишься за ту историю в сорок первом?»

Никитин молча надел шляпу и ушел. Когда за ним закрылась дверь, Куприянов вздохнул с облегчением.

Однако этот визит Никитина не прошел для него даром. Все чаще и чаще вспоминал он теперь о событиях сорок первого, трясущегося от страха Никитина... Что-то от того, обезумевшего от страха человека осталось в Никитине по сей день. Особенно это видно было в последний раз.

Тогда, в сорок первом, Куприянов позволил убедить себя в том, что Никитин правильно поступил. Да и как он мог не позволить, раз убийство было совершено на его глазах и он не помешал ему? Он должен был верить, что все сделано правильно. Но теперь, увидев страх и неуверенность в глазах Никитина, он задумался: так ли это? Встретив его однажды в городе, Куприянов убедился, что так. Никитин панически боялся его, настойчиво предлагал свою дружбу, помощь, хотя совершенно очевидно стеснялся такого знакомства и старался поскорее увести Куприянова подальше от центра, где мог встретить своих сослуживцев.

На Куприянова эти встречи производили тягостное впечатление. Расставался он с Никитиным в подавленном, беспокойном настроении и решал про себя, что теперь он никогда с ним не увидится, но каждый раз что-то тянуло его еще раз увидеть испуг в глазах бывшего товарища. В глазах того самого Никитина, который все детство и юность высокомерно управлял им, а иногда в зависимости от настроения и помыкал.

«По всему было видно, что он здорово боялся, — рассказывал мне Куприянов, — но я все равно ходил у его конторы и встречал его. В то время он имел для меня большое значение. В общем, так было всегда. А я для него ничего не значил. Раньше я боялся потерять его дружбу и пугался, если он нахмурится, а теперь он боялся потерять меня. Я иной раз нарочно сильно хмурый приходил».

Однажды Куприянов, слегка подвыпив, он тогда еще изредка выпивал, снова явился в гости к Никитину. Тот был один.

— Здорово, дружок! — с хмельным хитреньким добродушием сказал Куприянов и раскрыл руки для объяснения. Он ожидал, что Никитин отпрянет, не станет с ним не только обниматься, но и разговаривать, он думал, что все радушие Никитина показное, только на людях, во избежание скандала на публике, но тот обнял его, проводил в комнату, усадил за стол, достал початую бутылку водки и закуски.

От неожиданности Куприянов даже протрезвел.

— А я ведь специально встречал тебя с работы. Знаешь ты это? Хотел посмотреть на тебя...

— Знаю, знаю, Коля, — улыбаясь, ответил Никитин. — Только ты, если чего нужно, заходи прямо сюда. Ты же знаешь, я для тебя все сделаю. Вот ведь ты думаешь, наверное, что это оттого, что я боюсь, думаешь, я по глазам вижу, а я так, по дружбе. Только по дружбе. А бояться мне нечего. Если по совести разобраться, то в ТОМ мы оба виноваты...

— Э-эй, постой, как же так оба?! Я никого не убивал, а ты говоришь, оба... Ты это брось...

— Убивал, не убивал... Может, и я тоже не убивал... А что, несчастный случай. С каждым может быть. Зато от танков мы драпали вместе.

Пришла Настя. Они сидели и добросовестно пытались вспоминать школу, фронт, пытались даже спеть некоторые фронтовые песни. А когда Настя выходила на

кухню, оба молчали. Никитин курил и наблюдал за Куприяновым, а тот, уставившись в одну точку, напряженно думал. До сих пор ему и в голову не приходило, что он соучастник.

«Нет, это не может быть, — думал он. — Володька что-то крутит... Ладно, убежал, а куда там против танков с голыми руками... одному... Одному там нечего делать с голыми руками. Володька что-то крутит». Так он успокаивал себя.

Расстались они поздно. Прощались как друзья.

— Ты можешь всегда на меня рассчитывать, — повторил Никитин.

— А все-таки ты крутишь... Почему ты крутишь, Володька?

— Ты мой лучший друг, и мне нечего крутить. Я всю жизнь стараюсь не крутить, а с тобой и не собираюсь крутить.

— Нет, ты крутишь! Если б я был виноват, то есть если мы оба виноваты, то на кой черт я тебе нужен?

— Ты мой друг!

— А раньше я был твой друг?

— Ты всегда был моим лучшим другом.

— Ладно, посмотрим, какой я тебе друг.

На другой день он снова встретил Никитина у дверей треста.

— Ты насчет комнаты хотел похлопотать, не забыл?

— Не забыл, — ответил Никитин, будто Куприянов в свое время и не думал отказываться от комнаты. — Я сегодня звонил в исполком. Недели через две будет тебе комната.

«Я до сих пор не знаю, соврал он тогда или нет, — рассказывал Куприянов, — но через две недели мне выдали ордер на отдельную комнату».

— Еще у меня к тебе просьба, — ухмыльнулся Куприянов, — денег мне не подбросишь, а то не дотяну до полочки.

— Конечно, дам. Что ж ты раньше молчал? — Он открыл бумажник. — Сколько тебе? Двести? Триста?

— Давай триста.

Никитин протянул ему две сотенные бумажки и четыре по двадцать пять. Заглянул в бумажник. Пусто. У Куприянова в тот день деньги были. Он всего неделю назад получил полочку.

«Тогда я до конца понял, что если мы и виноваты оба, то его вина тяжелее. Он боялся меня и любым

путем хотел заручиться моей поддержкой и молчанием. Что моя вина по сравнению с его? Так я думал тогда. И если дело раскроется, то ему будет хуже. Ему наказание будет строже. Так ему и надо. Тогда я начинал его ненавидеть, потому что он хотел купить меня. Он покупал мое молчание, хоть я и не собирался ни о чем рассказывать, и навязывал мне свою фальшивую, трусливую дружбу. И я начинал ненавидеть его, потому что он все еще имел для меня большое значение и мне нужна была его настоящая дружба».

Несколько месяцев они не виделись, и Куприянов на расстоянии, сознавая свою власть над Никитиным, наслаждался ею. Он мог попросить, вернее, потребовать у Никитина что угодно и не требовал, заранее зная, что тот ему ни в чем не откажет. Несколько раз он придумывал, что бы такое приказать своему другу, и не приказывал. Но наконец соблазн оказался слишком велик, и Куприянов вновь пришел к Никитину. На этот раз он решил взять у Никитина денег и устроиться работать на его персональную машину, чтобы быть поближе к нему, чтобы все красивые слова Никитина о дружбе имели каждый день подтверждение. Никитин выполнил оба приказа, и жизнь его значительно усложнилась. Мало того, что Куприянов постоянно брал деньги и в его карман уплывали все никитинские премии и часть жалованья, персональная машина была теперь у Куприянова, а не у заместителя директора треста Никитина. Куприянов приезжал, когда хотел, и уезжал, когда ему было удобно.

Почему Никитин безропотно все сносил? Почему вернулся в свой маленький город? Почему сам отрезал все пути к так удачно начавшейся карьере? Очевидно, здесь дело не только в трусости. Допустим, именно трусость заставила его отказаться от хорошего поста в областном центре. Чем выше залетишь, тем больше падать, а «положиться» на Куприянова он не мог. Он боялся, что в прекрасный день он будет не в состоянии удовлетворить всевозрастающие его потребности и Куприянов с досады донесет. Никитин и не догадывался, что сам вызвал этот поток требований, что Куприянова поначалу вовсе и не деньги интересовали, а скорее возможность держать верх, приказывать.

Так что же его тянуло в родной городок?

По-видимому, здесь правы и жена Никитина, и его приятель Агеев. Со встречей с Куприяновым в душе у

Никитина открылась червоточина. Он стал жить временно, не давая себе забыть о преступлении, не позволяя себе пребывать в спокойствии и благополучии. Он не был откровенен с женой и друзьями. Завел себе любовницу, но и с ней не смог быть откровенным до конца.

Итак, он настоял на переводе в наш городок. Куприянов, разумеется, поехал вслед за ним.

«Я все время хорошо зарабатывал, — рассказывал Куприянов, — а деньги тратить не умел. Много ли мне было нужно одному? А те деньги, которые я получал от Никитина, были совсем лишними. И еще я их боялся. Они для меня были чем-то таким, что одновременно и сладко и жутко. Я любил смотреть на них. А потратить мне и в голову не приходило. Эти деньги для меня были что икона для верующего. Примерно так. Я не знаю, как по-другому сказать».

Прошло несколько лет. У Куприянова жизнь складывалась удачно. На новом месте его считали примерным работником, да он и был примерным работником. Не пил, несмотря на великие соблазны, окружающие его, машину свою любил и знал, с людьми держал себя вежливо, хоть и был немного замкнут и молчалив. Все относили это к характеру и не сердились. И, конечно, никто и не догадывался о другой его жизни.

Постепенно деньги, получаемые им от Никитина, потеряли свой первостепенный, символический смысл. Неодолимая тяга к наживе вытеснила все остальные стремления: и честолюбие, и месть, и желание дружбы, пусть фальшивой, пусть искаженной, но дружбы. Его уже не устраивали те маленькие суммы, которыми откупался от него Никитин.

Все чаще и чаще приходил Куприянов за деньгами. Угрожал, запугивал. И вот он нашел в системе заводского контроля лазейку, через которую с помощью самого директора он мог вывозить на своей машине лишнюю продукцию, то есть два-три ящика водки. В свою компанию он втянул рабочего склада и младшего бухгалтера.

Некоторое время Никитин колебался и отказывался, но потом страх взял верх, и он согласился. Он успокаивал себя тем, что корысти от пособничества мошенникам он не имеет и иметь не собирается, и все это не больше, чем попустительство. Если смотреть со стороны.

Для Никитина последние годы были особенно тяжелы. Как дамоклов меч висела над ним тягчайшая вина,

расплату за которую он оттягивал из года в год. (В том, что это только отсрочка, он уже не сомневался.) Кроме того, малодушие вовлекло его в новое преступление. Он старался быть честным, работой, добротой, порядочностью искупить хоть часть своей вины, но трусость заставляла его преступать закон. Это как бы отрезало все надежды на помилование. Теперь он был уверен, что рано или поздно его ждет расплата за все, что ему самому придется рассказать все и официальным лицам, и людям, которые любили его, верили ему, работали с ним. И уже не тяжесть кары удерживала его от саморазоблачения, а горе жены, друзей, всех.

Куприянов стал изворотлив, осторожен и скуп. Он держал все деньги дома, пряча их по разным углам. Часто пересчитывал. Часто доставал и рассматривал их. Прикидывал на руке, сколько они весят. Тратить он их не тратил. Отчасти потому, что боялся, а отчасти потому, что трата денег у него ассоциировалась с пальмами, ресторанами, увитыми виноградом, и большими белыми пароходами. Как можно тратить деньги у себя дома в родном, крошечном городке, он не представлял.

А со временем пальмы и пароходы, которыми он рисовал свое будущее, отодвинулись так далеко, что сделались нереальными. Годы шли, а он не то что пароходов, вообще ничего не видел. В очередной отпуск он ходил лишь раз и то по настоянию врачей. Да и что это был за отпуск! Он месяц провел в желудочном санатории неподалеку. В своей же области. Аккуратно пил пилюли, принимал всевозможные ванны. А, как правило, отпуск он не использовал. Брал денежную компенсацию. Ни разу не устоял от соблазна получить лишние полторы сотни рублей.

Для чего все это? Для чего деньги? Для чего он их копил? Для чего рискует? Такие вопросы он стал чаще и чаще задавать себе. И он решил: хватит! Вывез последнюю партию лишней водки, разделил деньги между компаньонами и пошел к Никитину брать отпуск за свой счет. Дело было в августе.

Отпуск он, разумеется, получил сразу, захватил с собой две тысячи рублей и вылетел в Сочи. Там он остановился на частной квартире, так как в гостиницах мест не было.

Он прилетел в Сочи тратить деньги. Начал посещать рестораны, все концерты и экскурсии, но привычка жить скромно взяла верх. Он не мог шиковать. Ему было

жалко денег, да и потребностей в шикарной жизни у него не было. В ресторане Куприянов стеснялся. Ему все время казалось, что он не так ест, не то пьет, что официанты над ним подсмеиваются, а соседи по столу осуждают. Эстрадные концерты ему не нравились, он любил русские песни. В кино, особенно на двухсерийном фильме, у него болела голова. На экскурсиях он уставал, робел и терялся. Пить в одиночку он не мог, а друзей себе не нашел. С людьми он сходилась тяжело. Был слишком замкнут и насторожен. В результате он потратил двести рублей, удовольствия не получил и вернулся домой раньше времени, озлобленный и угнетенный. Теперь ему не давала покоя мысль о деньгах. Работу он бросать не собирался, так как привык к ней и не представлял жизни без машины. Зарплаты ему хватало.

Он решил бросить водочные махинации и жить спокойно. Но бросить не удалось. Компаньоны стали теревить его, требовать возобновления операций. Он лишил их доходов, а без него у них ничего не получалось.

«Мне стало страшно, — рассказывал Куприянов, — мне стало очень страшно. Не было никакого пути. По ночам я не спал, все думал, думал. Вспоминал. Двадцать лет жизни я только прожил как человек. А остальное... остальное — с того самого случая в сорок первом... Все тягостно, плохо... Ни одного дня радости. И все он, Никитин. Я пришел к нему домой. Не знал, зачем пришел. Пришел просить, чтобы он освободил меня от этого проклятья. А он думал, что я пришел насчет накладных, то есть насчет лишней водки. Жены его дома не было. Он распахивался, сразу закричал. Говорит, что ему все надоело, что он больше не может, что он больше не будет покрывать мои дела, что я могу идти куда угодно и рассказывать что угодно. Он, мол, сам решил во всем признаться и признается.

Я ни слова не сказал и ушел. Иду и думаю: «Вот ты как! Покаяния захотел! А я? Я как? Тебе покаяние, а мне тюрьма? Ты со своей совестью считаешься, а меня так, мимоходом, заодно. Нет, не будет тебе ничего! И покаяния не будет. Я всю жизнь скотом жил, и помирать ты меня скотом заставляешь... Нет. Такого не будет».

Тогда по дороге я решил, что убью Никитина. И от этой мысли мне стало легче. Вроде просветление нашло. И заснул я спокойно. И на работе утром у меня было

все хорошо. И с компаньонами я в то утро рассчитался очень просто. Как из сердца камень вынул. Тихо стало у меня на душе. Я знал, что мне теперь делать».

---

#### Глава XIV

На одном из последних допросов я не удержался и спросил у Куприянова:

— Что же заставило вас признаться?

Куприянов словно не услышал моего вопроса. Он сидел, углубленный в свои мысли, неподвижный и безмолвный. Большие руки безвольно лежали на коленях ладонями вниз. Они слегка подергивались.

Зазвонил телефон. Это спешил поздравить меня Зайцев.

— Ну наконец-то... — сказал он. — Поздравляю! Докопался все-таки... Молодец!

— А знаешь, я здесь, в общем-то и ни при чем.

— Брось приbedняться! — сказал Зайцев.

— Я не приbedняюсь...

— Кто же тогда при чем?

— Сам Куприянов, — сказал я. — Он сам признался. Очень самостоятельный человек.

— Чего же он раскололся? — весело спросил Зайцев. — Может быть, он того?..

Мне не хотелось продолжать разговор в таком тоне, и, ничего не ответив моему милому, непосредственному Зайцеву, я повесил трубку. Перезванивать он не стал. Возможно, как это с ним изредка случается, непосредственность покинула его на некоторое время.

Так мы и сидели друг перед другом. Я пытался выяснить свое отношение к Куприянову. Это было нелегко. Разумеется, я ни на мгновение не забывал, что он преступник. Хладнокровный и расчетливый убийца, и все-таки мне было его жалко. И мне было не по себе от этой жалости.

— Вы о чем-то спрашивали? — вдруг сказал Куприянов.

— Я спросил, почему вы так легко во всем признались, — повторил я. Он некоторое время смотрел на меня молча, словно не понимая сути вопроса, словно возвращаясь из своего далекого путешествия в себя.

— Разве для вас это имеет значение?

— Да. Очень большое.



— Я хотел освободиться от него... От всего хотел освободиться. Потом понял, что не получится... В тот же вечер. Вернее, в ту же ночь. Потом я ждал. Ходил, говорил, что-то делал и ждал. И вместо облегчения — новая тяжесть. Выходит, я ошибся. Освобождаться мне нужно было от себя. Мне стало все равно... Я никогда не верил в бога. И сейчас не верю. То, что люди перед смертью исповедовались, — это не от бога. Трудно помирять с тяжестью на душе. Это люди придумали для себя. Раньше я и в это не верил. Не думал об этом, не знал.

Он-то, Никитин, понял это раньше меня. Выходит, от этого все и произошло. Он всегда обгонял меня. У него еще в школе была кличка Выходка.

Сперва я решил просто уйти. Потом понял, как трудно уходить, не исповедовавшись...

Так и кончилась эта печальная история, случившаяся в нашем маленьком городке, где все друг друга знают. Я получил ответы почти на все беспокоившие меня вопросы. На все, кроме одного, навязчиво преследующего меня до сих пор. Кроме вопроса, на который уже не могут ответить мне ни Куприянов, ни Никитин... Да и вряд ли они когда-нибудь могли на него ответить. Вряд ли я и сам отвечаю на него.

А все-таки, что было бы, если бы они не встретились после войны?

# СВЯТОЙ МАВРИКИЙ



ПОВЕСТЬ

---

На четвертом часу дежурства телефон наконец ожил. Анечка привернула репродуктор и придвинула к себе журнал заявок.

— Диспетчерская восемнадцатого ЖЭКа, — сказала она и виновато посмотрела на Сергея.

Тот пожал плечами с таким видом, будто он так и знал, что это рано или поздно случится.

— Что? Что? — переспросила Анечка. — Не понимаю... А-а-а... Спасибо. Это все? — Она захлопнула журнал.

Сергей облегченно вздохнул:

— В чем дело?

— Какой-то чудак поздравил с Восьмым марта...

— Ну и слава богу, — сказал Сергей.

— По-моему, ты просто лентяй, — сказала Анечка и посмотрела на часы. — Потерпи, осталось три с половиной часа.

— А по-моему, это свинство — работать, когда другие празднуют, — сказал Сергей и закурил.

— У меня сменщица заболела, — оправдывалась Анечка.

— А я отгулы коплю, хочу к старикам в Астрахань навеститься. С тех пор как в МИФИ срезался, не был. То ждал, когда списки вывешат, то, как по лимиту устроюсь, потом, когда на подготовительные запишусь. — Сергей стукнул ребром ладони по колену. — В этом году обязательно поступлю.

— Упорный, — вздохнула Анечка.

— Последовательный, — усмехнулся Сергей, встал и с хрустом потянулся.

— Здоров же ты, — еще раз вздохнула Анечка.

— Это после армии выровнялся. Раньше дохлый был. А теперь, — Сергей засмеялся и гулко постучал себя кулаком в грудь, — дешевле похоронить, чем прокормить.

Снова затрещал телефон.

— Да, — недовольно сказала Анечка. — Говорю вам, диспетчерская... Давно течет? Часа два? Записываю... Какой этаж? Пятый?.. Хорошо, сейчас будет...

Сергей поднял чемоданчик с инструментами и выдернул из-под пальцев Анечки листок с адресом.

— Я быстро, — сказал он, заглядывая Анечке в глаза. — И чтоб без меня ни-ни...

— Будет тебе, Сережа.

Сергей затопал по темному коридору. Из-за двери, ведущей к участковому инспектору Степану Константиновичу, пробивалась ниточка света. «Старик, наверное, домой скоро пойдет», — подумал Сергей и вдруг остро пожалел себя: тому небось холодца наварили, а тут живешь как собака, ешь всухомятку, спишь на одной простыне. Жениться, что ли?

У крыльца Сергей провалился в затянутую льдом лужицу и чертыхнулся. Торопясь, чтобы не замерзнуть окончательно в мокрых ботинках, заскользил по припорошенному снежком льду. Заворачивая в переулочек, он услышал резкий визг притормозившей машины и еле успел увернуться. Темную «Волгу» протащило юзом, потом шофер, не оглядываясь, поддал газу и понесся дальше в притихшую пустынную улицу. Это окончательно испортило Сергею настроение...

Дверь открыли сразу, как только Сергей отнял палец от кнопки звонка. В дверях стоял парень в белой рубашке и сбившемся на сторону галстуке. Из-за его плеча выглядывала девушка с растрепанной прической.

— Слесаря вызывали? — спросил он.

Парень осмотрел его с головы до ног и промолчал.

— Слесаря вызывали? — повторил Сергей.

— Ну... — сказал парень.

— Что случилось? — спросил Сергей, не зная, как расценивать это лаконичное «ну».

Парень снова промолчал.

— Что случилось? Зачем вызывали?

Парень понимающе улыбнулся и подмигнул.

«Везет на пьяных», — подумал Сергей и посмотрел на девушку. Она поняла, что без ее вмешательства не обойтись, и протиснулась вперед.

— Вызывали, вызывали, — сказала она и поправила прическу. — Пойдемте скорее, — сказала девушка и поприятельски взяла Сергея за рукав.

Они прошли в полутемную прихожую.

— Это твой парень? — раздался голос сзади.

— Не говори глупостей, — сказала девушка, не обращившись, и повела Сергея на кухню. В раскрытой двери был виден праздничный стол.

— Вот, смотрите, — сказала девушка, указывая пальцем на потолок. Там над плитой синело большое мокрое пятно. По его краям собирались крупные мутно-белые капли и с глухим стуком падали на кафельный пол мимо поставленного тазика.

— Вы наверху были? — спросил Сергей.

— Мы никогда наверх не ходим, — сказала девушка.

— Ну-ну, — сказал Сергей и направился к выходу.

Дверь в квартиру номер 17 была самая красивая на шестом этаже. Хорошо обитая, с тяжелой изогнутой ручкой и круглым старинным звонком с замысловатой вязью «Прошу повернуть». Сергей прочел табличку «Профессор Симонов В. С.» и повернул звонок.

Через несколько секунд послышались тихие шаги. Человек за дверью немного постоял, как бы раздумывая, открывать ли, затем шаги стали так же неспешно удаляться.

— Что, никого нет? — спросила девушка снизу.

— Да непонятно... Во всяком случае, не открывают... — сказал он и позвонил еще раз и еще.

— Что же, нас так и будет заливать всю ночь? — весело спросила девушка.

— Да нет. Не беспокойтесь. Что-нибудь придумаем. В крайнем случае дверь взломаем. Пойдете в свидетели?

Сергей подошел к перилам и посмотрел на девушку.

— Мы никогда наверх не ходим, — ответила она кокетливо.

Послышалось лязганье цепочки, потом тихо щелкнул замок, и дверь медленно открылась.

На пороге стоял высокий человек с красивой проседью в волосах.

С его широких плеч живописными складками ниспадал просторный домашний халат.

— Что вам угодно?

— Я слесарь из ЖЭКа.

— Мы никого не вызывали, — строго сказал мужчина в халате и внимательно оглядел Сергея с головы до пят.

— Вы-то не вызывали, а у ваших соседей внизу вот штукатурка начнет осыпаться.

— А при чем здесь я? — недовольно буркнул жилец.

— Как при чем? Течет-то от вас. У них там потоп.

Мужчина долго смотрел на Сергея, о чем-то размышляя. Затем без видимого удовольствия шагнул назад и кивком головы пригласил Сергея входить. Потом долго возился с запорами.

— Проходите, это на кухне, — наконец сказал он, накинув последнюю щеколду.

«Ну и профессор, — невесело подумал Сергей. — Попадись такому в лапы на экзаменах — живьем съест».

На кухне по всему полу, выложенному метлахской плиткой, блестела вода.

Из трубы, идущей к старинному фаянсовому умывальнику, разрисованному какими-то легкомысленными розанчиками, с тихим шипением выбивалась тоненькая струйка воды.

— Да-а, — озабоченно протянул Сергей. Стало ясно, что так скоро он отсюда не выберется. Эти чертовы старые дома! В одном месте тронешь — в другом зашишет. Как бы не пришлось всю трубу менять. Хорошо, если вентиль работает. Хотя... — Куда же вы смотрели? — Сергей со злостью оглянулся на профессора. Тот стоял за его спиной.

— Заработался...

— Заработались, — проворчал Сергей, демонстрируя свою слесарскую гордость и превосходство. — Смотреть надо! Вот заставят внизу ремонт делать... Ну, что вы стоите, давайте ведро, тряпку. Где у вас тут вода перекрывается?

Профессор, грузно ступая, решительно направился в ванную. Сергей, грохнув об пол чемоданом с инструментами, отправился за ним.

«Как слон топает, — злорадно размышлял Сергей. — Они заработались, а ты собирай теперь воду, а там ее ведра два, не меньше. Не заставишь же его ползать с тряпкой. Был бы помоложе — я бы тебя...»

Профессор недоуменно развел руками.

— Черт знает что такое, — растерянно улыбнулся он. — Вечно эта Настя куда-то все прячет. Не домработница, а инквизитор.

Слава богу, вентиль на стояке в туалете функциони-

ровал. Сергей перекрыл воду и с большим облегчением прислушался. Тихое шипение на кухне прекратилось.

Половую тряпку Сергей нашел сам. С чрезвычайной осторожностью, будто ступая в топкое болото, он шагнул в лужу на кухне. Профессор стоял на пороге и молча наблюдал за ним.

— Ну а ведро где? — раздраженно спросил Сергей. «Чего уставился? Теперь будет над душой стоять, глазеть, как я на карачках ползаю».

— Не знаю я, куда она ведро дела, — сказал профессор.

— Тогда я буду в умывальник.

— Валяйте, только побыстрее.

Сергей бросил тряпку на пол, выжал прямо на рожки умывальника. Еще раз, еще...

Уйдет он когда-нибудь?

Он оглянулся. Профессор так и стоял на пороге. Сергей видел лишь его ноги в больших мокрых ботинках. Размер сорок пятый — сорок шестой. Вот уж действительно слон.

Сергей еще несколько раз проделал процедуру с отжиманием, варьируя про себя на разные лады слово «слон» и видя то умывальник, то профессорские ноги в огромных мокрых ботинках. Он успел досконально изучить эти ботинки с замысловатым рантом и с живописными соляными разводами, а воды оставалось еще порядочно.

И чего он в ботинках по дому ходит? В халате и в ботинках, в халате и ботинках... Говорит, заработался, а сам недавно с улицы. Вон даже ботинки не обсохли. А зачем он соврал? Почему не вызвал слесаря сам? Какой-то ненормальный...

Профессор стоял огромный и величественный, как монумент.

«В конце концов, я не обязан тут полы мыть», — решил Сергей и, в последний раз отжав тряпку, швырнул ее в угол.

Лужа исчезла, но пол был еще сырой.

Сергей направился в коридор за своим чемоданчиком.

Профессор не спеша, словно раздумывая, уступил ему дорогу.

— Это надолго? — спросил он.

Сергей пожал плечами:

— В этих старых домах ничего нельзя знать навер-

няка. Тронешь в одном месте, а расползется в другом.

— Мне скоро нужно уходить.

— Я постараюсь, — сказал Сергей и встретился взглядом с профессором. В глазах у того мелькнула тревога. — Не бойтесь, это не больше двадцати минут.

— Ну, тогда ничего, — с облегчением сказал профессор...

Звук раздался неожиданно, будто кто-то специально дожидался паузы и, подгадав, бросил на пол тяжелый предмет.

Сергей увидел, как профессор вздрогнул и побледнел. Он даже прикрыл глаза, как от внезапной острой боли.

«Что с ним?» — испугался Сергей. И вдруг испугался по-настоящему, и не за побледневшего профессора, а за себя. Готовый было сорваться с языка вопрос застрял в горле.

Глаза профессора цепко обшаривали его лицо. Сергей увидел, что тот прочел его страх.

— Валерий Николаевич, что у вас там случилось? — крикнул профессор в комнаты.

Несколько секунд там было тихо. Потом неуверенный мужской голос ответил:

— Да вот тут книжка упала.

— Вы еще не закончили? — облегченно вздохнув, спросил профессор.

— Пока нет...

— Там мой дипломник работает, ужасно неповоротливый малый, — заметно оживился профессор, — вечно что-нибудь роняет. — Он говорил это почти весело и, пожалуй, чуть громче, чем следовало.

Сергей слушал его и не понимал смысла слов.

«А ведь он не профессор. — От этой мысли Сергей уронил газовый ключ. — Какая глупость, — спохватился он, поднимая ключ. — Типичный профессор. И руки профессорские...»

Сергей хотел взглянуть на его руки, но они были в глубоких карманах халата.

«В конце концов, какое мне дело?» — Сергей приладил ключ к муфте и осторожно нажал. Муфта не поддавалась.

«Как бы не стронуть всю трубу...» — Он нажал еще раз. Потом решил не рисковать и придержал трубу другим ключом. По счастью, у него был второй номер с собой. Он снял «первяк» с муфты и надежно захватил



им трубу, а второй номер накинул на муфту и начал потихоньку нажимать.

Эти маленькие производственные проблемы немного отвлекли его. Но когда муфта благополучно отошла и обнажила ржавую резьбу сгона и оставалось только подмотать свежего льна и загнать муфту обратно, в дальней комнате раздался телефонный звонок.

Сергей встретил напряженный взгляд профессора.

«Нет, так не реагируют на обыкновенный телефонный звонок».

Профессор растерянно оглянулся и, словно подталкиваемый вопросительным взглядом слесаря, шагнул было к комнате. Потом вернулся и произнес:

— Я сейчас, на минуточку...

— Пожалуйста, пожалуйста, — насмешливо ответил Сергей.

«Чего он докладывается? Больно он здесь нужен. Стоит над душой. Терпеть не могу».

Профессор ушел, плотно прикрыв за собой дверь.

Телефон, очевидно, находился в дальней комнате. В первой было темно. Профессор прошел ее, не зажигая света. Во всяком случае, Сергей не слышал щелчка выключателя. А телефон все звонил. «Пора бы ему и трубку снять», — подумал Сергей.

Он отчетливо различал торопливые тяжелые шаги по дальней комнате, приглушенные голоса и резкую, настойчивую телефонную трель. Потом звонок затих.

Сергей был готов поклясться, что телефон накрыли подушкой. Он слышал очень тихое бреньканье...

— Да, это я. Нет, не могу. Я сейчас занят. У меня слесарь... — на всю квартиру кричал профессор.

Сергей воровато взглянул на дверь, быстро нагнулся за ключом и, захватив им целую и невредимую трубу, рванул на себя. Он видел, как на белоснежном, крашеном-перекрашеном тройнике лопнула краска и показался клочок прогоревшего льна.

«Пожалуй, хватит, — решил он, — обязательно потечет, когда открою вентиль».

Он швырнул ключ в чемоданчик, но, подумав, переложил в наколенный карман. Попробовал, легко ли вынимается.

Нельзя сказать, что у него уже созрело определенное решение. Сергей еще толком не понимал. И то, что он

повредил трубу в новом месте, не было продиктовано ничем, кроме желания оттянуть время и попробовать разобраться в своих ощущениях и предчувствиях.

Безотчетный страх, охвативший его несколько минут назад, прошел. Скорее это был не страх, а какой-то животный ужас перед неизвестным, таинственным. Теперь, когда с этим было покончено, предстояло спокойно разобраться — что же происходит на самом деле. А потом уж и отвести себе в этих событиях определенную роль с соответствующей линией поведения.

Ход рассуждений Сергея Вишнякова был приблизительно такой: «Слесаря вызвали соседи снизу. Они сказали, что протекать начало полтора-два часа назад. Профессор долго не открывал, хотя и подходил к двери, а открыл после того, как я сказал, что придется ломать дверь. Он сразу послал меня на кухню. Следовательно, знал, где произошла авария. Когда я его спросил, почему не вызвали раньше, заявил, что «заработался». Не «заработались», что было бы гораздо точнее, раз их тут двое. Это не вяжется с двумя вещами. Первое — он знал про аварию и соврал, как мальчишка. Второе — у него мокрые ботинки. А на основе своего опыта хождения по гостям я знаю, что ботинки за два часа высыхают на ногах, тем более в таком тепле. Не раз приходилось их прятать под стул из-за этих безобразных соляных разводов. Следовательно, он незадолго до меня пришел с улицы.

Почему он так и не сказал? Это было бы проще всего. Очевидно, потому, что и мне эта мысль пришла в голову в последнюю очередь.

Раз профессор — значит, рассеянный, весь в работе, забылся, не заметил. Есть еще одно предположение, но оно отпадает сразу. Промочить ботинки в луже на кухне он не мог. Нигде на воощенном до зеркального блеска темно-красном старинном паркете не видно мокрых следов. Вернее, есть отчетливая цепочка уже высохших — моих собственных».

В дальней комнате замолкли голоса, и по грузным шагам Сергей определил, что это возвращается профессор. Слесарь выдернул из комка льна длинную прядку и стал не спеша накручивать ее на резьбу. Профессор, опять застывший изваянием на пороге, уже не действовал ему на нервы. Напротив, он словно подгонял его мысли.

«Хорошо! Отнесем эти соображения к странностям

профессорской души. Но есть и другие неувязочки. Более серьезные...»

Сергей покосился на профессора. Тот стоял, как и прежде, погрузив руки глубоко в карманы... Из-под бархатного отворота халата белел воротничок рубашки. Узел галстука был несколько старомодным, что и было теперь последним криком моды. На одной руке обшлаг, обшитый тем же темно-вишневым бархатом, задрался и обнажил пиджачный рукав.

Профессор, заметив вопросительный взгляд Сергея, чуть шевельнулся, потом отошел от кухонной двери, вернулся с хрупкой тонконогой табуреткой и осторожно опустился на нее.

«Почему он в халате? — подумал Сергей. — Ну, разумеется, пришел человек с улицы, снял пальто, переодеваться не стал, потому что скоро уходить, потом озяб и накинул халат. Вот чертовщина! Как только возникает какое-либо, пусть даже смутное подозрение, так тут же приходит нормальное жизненное объяснение. Можно подумать, что я поставил целью подозревать бедного профессора во всех смертных грехах. В том-то и дело, что никакой цели я себе не ставил, а подозрения возникли сами собой. Но почему он разгуливает по квартире в ботинках? Почему он до поры скрывал присутствие своего якобы дипломника, да и какие сейчас дипломы? Почему он накрыл телефон подушкой, вместо того чтоб или ответить, или просто не снимать трубку? Почему он делал вид, что разговаривает по телефону? И вообще!.. Чего он торчит здесь над душой? Шел бы к своему якобы дипломнику».

Сергей кончил подматывать лен и взялся за муфту. Придерживая трубу другим ключом, он загнал муфту на место и, собрав остатки льна в комок, вытер им руки.

Профессор оживился. Скрипнул табуреткой. Кашлянул, прочищая горло после долгого молчания, вынул руки из карманов и, опершись ими о колени, грузно поднялся:

— Ну что, молодой человек, закончили?

— Да вроде все, — ответил Сергей.

Он прошел в туалет и долго возился с вентилем.

«А если сейчас не потечет в новом месте? — думал он. — Мне ничего не останется, как собрать вещички и попрощаться. А дальше что? Ну, побегу я на улицу, ну, найду милиционера или из автомата позвоню своему

участковому. И что я ему скажу? Приходите скорее, в квартире жулики? Смешно. Если это жулики, то почему они меня пустили? Могли бы подождать, пока я уйду, и смыться. С таким же успехом они могут смыться, пока я хожу за милицией. Да еще прихватят, что могут, а потом на меня же и шишки посыплются. Ты был последним, ты и взял. А если не ты, то почему не задержал сам? А как их задержишь? Кто знает, сколько их? Пока слышал двоих. Но их может быть и трое и четверо.

Но самое смешное будет, если этот тип окажется настоящим профессором. А скорее всего так оно и есть», — неожиданно для себя заключил он и, решительно отвернув вентиль, отправился на кухню.

Ну вот, пожалуйста, в новом месте из-под тройника вода била в несколько веселых струй.

Профессора в коридоре не было. Сергей, чертыхнувшись про себя, быстро пошел к комнатам. Не успел он потянуться к дверной ручке, как дверь распахнулась и на пороге вырос профессор. Он буквально вытолкнул Сергея на середину коридора.

— Ну что там у вас? — с плохо скрываемой злостью быстро спросил профессор. — Закончили наконец? Закончили, так идите! Видите, я занят.

— Я закончил, — ответил Сергей, — но в другом месте потекло. Я хотел позвонить... Сказать... У нас там диспетчер. Она должна знать, где я, — бормотал Сергей, отступая на кухню, поближе к своим инструментам.

Профессор, как привязанный, шел за ним.

— Ну и что случилось? — медленно произнес он, и в голосе его прозвучала угроза.

— Я же говорил, — сказал Сергей, быстро нагибаясь к чемоданчику с газовым ключом, — что в этих старых домах в одном месте тронешь — в другом потечет. Теперь нужно начинать все сначала. Разворачивать опять этот сгон, вынимать трубу из тройника, подматывать и собирать снова. — Говоря это, Сергей с удовлетворением отметил, что профессор в кухню все-таки не идет: очевидно, боится намочить ноги. Плиточный пол еще не просох.

— Вот что, молодой человек, — медленно и отчетливо произнес профессор (было видно, что такой спокойный тон ему дается с трудом), — я действительно очень тороплюсь, вы сейчас снова перекроете воду и пойдете

домой, а завтра придете и все исправите. Завтра с утра вы можете здесь работать хоть целый день. Завтра. Завтра, а не сейчас. — И профессор повернулся, показывая всем своим видом, что дело решено, разговор окончен и по-другому и быть не может.

— Я бы с удовольствием... — с досадой в голосе сказал Сергей.

Профессор резко обернулся:

— Что? Что такое?!

— Я говорю, я бы с удовольствием, — примирительно сказал Сергей, — да нельзя. Вашим вентилям перекрываются три этажа над вами.

— Что же это такое?! — застонал профессор. — Неужели ничего нельзя сделать?

— Ничего и не придумашь, — сказал Сергей, поигрывая увесистым ключом. — А впрочем, какой у вас замок?

— Обыкновенный, — рассеянно буркнул профессор, размышляя о чем-то другом. — А при чем здесь замок?

— Можете спокойно идти по своим делам, если у вас замок английский и захлопывается, а я захлопну дверь. Мы часто так работаем.

Профессор задумался. Пока он размышлял, Сергей засунул ключ в наколенный карман и, решив действовать напролом, вышел из кухни.

— А позвонить мне все равно нужно, — веско сказал он. — Где тут у вас телефон?

Профессор машинально кивнул, очевидно, так и не прервав своих размышлений. Сергей быстро подошел к двери, ведущей в комнату. Профессор в последний момент преградил ему путь.

— Не стоит пачкать пол... — сказал профессор.

...Эту историю Макар Фатеев услышал случайно в купе, возвращаясь со своей командой гребцов с соревнований. Гребцы уже дружно храпели за стенкой, а он ворочался на верхней полке. Внизу гремели пивными бутылками и приглушенный, с сипотцой голос что-то бубнил. Макар подумал, что это тот маленький лысенький попутчик, но глянуть вниз, проверить свою догадку ему было лень. В слова он не вслушивался, но они назойливо лезли в сознание...

— Отступление, наступление, а наша дивизия все время на переднем рубеже. В конце концов, попал в

окружение, а выйти так и не смог. Остался с группой моих товарищей на оккупированной территории. Пошатались по лесам недельки две и вышли на маленький партизанский отряд. Короче говоря, пришлось мне воевать в Брянских лесах.

А надо сказать, отряд тогда силу набрал, все мы эту силу чувствовали, и поэтому казалось, что невыполнимых задач нет.

Я-то был в стороне от этих хлопот, но спокойной жизни у меня не было. Стоял июль, самый сенокос, и тут уж я был почти в одном ранге с командиром отряда.

Вы не улыбайтесь. Сенокос для партизанской войны — дело важное. Сами посудите: лошадей у нас — огромный табун, скота, крупного и мелкого рогатого, — голов под сто. Так что, как хотите, а сено было для нас стратегическим сырьем. Это тебе и продовольствие, и транспорт, и связь...

А косили мы по лесным лужкам, полянкам, просекам. Не косьба, а грех один. Там ущипнешь, здесь подбреешь. Да мало еще скосить. Надо перевезти сено в удобные места, чтоб оно зимой было под руками... Зимой ведь доставка — дело трудное и заметное. Да так нужно стога и копешки расположить, чтоб никто их и не заметил. Вот и приходилось кумекать, что к чему. Надо сказать не хвалясь, я эту сенную стратегию очень хорошо усвоил, за что и уважал меня командир.

В тот день снарядил я три подводы, в каждой по три человека, и направились мы в зареченский лес, где у меня были три копешки сена самого отборного, по склонам оврага с преогромнейшим трудом насушенного.

Добрались мы благополучно, нагрузили три здоровенных воза, увязали и двинули обратно, вернее, к тому местечку, неподалеку от лагеря, которое я облюбовал заранее.

И вот посреди дороги один из возов накренился на колдобине и рассыпался. А шел этот воз последним. Ну, мы кое-как телегу поставили на колеса и взялись за вилы. Тут слышим — вроде машины гудят. У нас, конечно, все с собой было. Расположились четверо партизан в лесочке по обочине, а я с товарищами за сеном залег. Очень удобное получилось прикрытие. Целая копна на дороге. И не объедешь ее никак.

Смотрим — мотоцикл с коляской, а за ним «опель-адмирал». Мотоциклисты, как увидели наше загражде-

ние, так, не доезжая, пошли шить сено из ручных пулеметов. Еще и нас-то не видели, а так, со страху стреляли...

Только мотоциклисты подъехали немного поближе, один из моих москвичей автомат поднял и одной удачной очередью срезал экипаж мотоцикла. Тут из леса послышались выстрелы. Потом вижу — граната летит на дорогу. Отчетливо вижу. Летит, кувыркается в воздухе. Вжался я в сено. Ба-а-бах! Открываю глаза — темно. А это волной на нас сено навалило. Откопался я — тишина. Только мотоцикл горит, потрескивает, а около машины двое наших с винтовками наготове. Подошел к «опелю». Там двое. Шофер и еще один в мундире, в генеральском вроде. Ну, думаю, и дела. Собрал кое-как фразу по-немецки и говорю: мол, милости просим, господин генерал.

Притрусили мы их с шофером сенцом — и вперед на полной скорости. Надо генерала скорей доставить, да еще за сеном успеть вернуться.

Это действительно оказался генерал. Ну, нам всем, кто участвовал в этой «сенной операции», награды и все такое прочее...

Все документы его сразу на Большую землю отправили. А конверт один у меня остался. Картинка на марке мне очень понравилась.

После войны я поступил в университет на экономический факультет. Там-то и познакомился с Виктором Сергеевичем Симоновым. Он тогда еще доцент был, читал нам историю. Все знали, что он филателист заядлый, и пользовались этим. Ну и я решил как-то воспользоваться этой его слабостью и на экзамене, вместо того чтоб отвечать по существу, свернул разговор на марки и рассказал ему свою историю с генералом. В общем, чтоб хоть на трояк натянуть, я сочинил, что генерал именно из-за марки очень беспокоился. Сочинить-то я сочинил, но, видно, у голодных, непутевых студентов особенное чутье. Вышло, что я попал в точку.

Тут Макар окончательно поборол дремоту и даже пододвинул подушку к краю, чтоб видеть рассказчика. Он угадал: действительно рассказывал маленький лысый, а молодой и сонный меланхолично отхлебывал пиво из стакана и согласно кивал на каждую фразу.

— В зачетке у меня образовалась четверка, — продолжал рассказчик, — и в тот же вечер я был у Симо-

нова дома, на Тверском бульваре с заветным конвертом в кармане.

Не успел я раздеться, как он меня спрашивает: «Ну что, принесли?»

А конвертик еще в той пергаментной бумажке. Развернул я его, Виктор Сергеевич взял двумя пальчиками — и к свету. Смотрю, вроде разочарование на его лице.

«Ничего, — говорит, — ничего. Не бог весть что, но ничего... И у меня ее нет. Вообще-то не очень редкая марка. Зря он так беспокоился, ваш генерал. Редкая, конечно, но не очень. В Союзе их не больше трех-четырех десятков. Но совершенно с вами согласен — очень красивая».

Тут он меня к столу. Помню, я так навалился на еду, что через полчаса ословел, сижу и сплю. А Симонов принес специальную стеклянную ванночку и с заговорщицким видом подмигивает мне. Сейчас, мол, приведем ее в товарный вид. Налил он в ванночку теплой воды и склонился. А я сижу, дремлю вполглаза.

Очнулся я оттого, что Симонов испустил какой-то тихий, но уж очень пронзительный крик. «Идите, — говорит, — сюда скорее», — и рукой мне машет. Я выбрался из кресла — и к нему. Смотрю, а в ванночке чудеса. Моя красавица, которой я всю войну любовался, прямо на глазах бледнеет и отслаивается; а под ней появляется другая картинка.

Симонов стоит, руку с пинцетом над ванночкой поднял и прикоснуться боится. Замерли мы с ним. Через минуту-другую, когда нижняя картинка проявилась окончательно, доцент сел в кресло и слова выговорить не может. Потом опасливо посмотрел на меня и подозрительно так спрашивает: «А сами-то вы марками не интересуетесь?»

«Нет, — говорю, — а что?»

Он подождал, пока нижняя марка окончательно от конверта отклеится, и, взяв ее с величайшими предосторожностями пинцетом, заговорил:

«Понимаете, милый мой, вам здорово повезло. Это величайшая марка, занесенная во все международные каталоги. Их всего на земле не больше десятка. Называется она «Святой Маврикий», по имени острова, на котором она выпущена. И сколько она сейчас стоит, я даже затрудняюсь сказать. Ясно только одно: что ни



один из известных мне коллекционеров не в состоянии ее у вас купить».

«А я и не собираюсь ее продавать, — отвечаю я. — А если уж она такая ценная, то храните ее как следует. Или передайте в музей. В общем, как хотите. На ваше усмотрение».

Он все никак не мог поверить, что я ему отдаю эту марку. А куда мне ее? Живу я не один, со мной еще двое студентов, тоже фронтовики. Не комната, а, сами понимаете, проходной двор. Еще затеряют по нечаянности или, чего доброго, изомнут. В общем, отдал я ее Симонову.

— Ну, где теперь эта марка? — спросил молодой, оторвавшись от стакана с пивом.

Макар замер, даже затаил дыхание. Он боялся упустить хоть одно словечко. Внутри у него все дрожало от напряжения. «Господи, — лихорадочно думал он, — неужели это оно, неужели это дело, которого ждал десять лет... Ну скажи, скажи», — подбадривал он про себя неторопливого рассказчика. А тот будто специально не спешил. Сперва выпил пива, а потом будничным голосом произнес:

— А где ж ей быть? У Симонова. Он теперь уже профессор в том же университете. А до сих пор увлекается марками. Студенты добросовестно пополняют его коллекцию, но, говорят, он теперь менее покладист. Марки, конечно, берет, но четверок просто так не ставит...

Макар Фатеев две недели провел в университете. Посетил несколько лекций профессора Симонова. Изучил график его работы. Привычки, образ жизни. Систему замков на его двери он теперь знал наизусть. Сложнее было с ключами. Возиться с отмычками Макар не хотел и был по-своему прав. Торопиться было некуда. Дело, которое свалилось на него внезапно и о котором он мечтал всю жизнь, по всем приметам выглядело как последнее. После него можно уже ни о чем не думать. После него можно спокойно жить. Можно даже жениться на серьезной и спокойной женщине, которая нарождает ему детей, которая будет ждать его по вечерам. Можно будет сократить часы работы на водно-спортивной станции и устроить все так, чтобы она не отнимала больше двух-трех дней в неделю.

Можно было подумать и об уютной, не очень броской дачке с трехчетвертным бильярдом в подвале.

И не нужно было спешить. Только стопроцентная уверенность в успехе могла быть сигналом к началу «акции» (именно так он называл про себя предстоящую кражу).

Собственно говоря, он был бы окончательно спокоен, если бы работал один, как и раньше, но, поразмыслив, пришел к выводу, что без помощников ему все-таки не обойтись.

Во-первых, он боялся, что не справится с сигнализацией, и тут не нужно было жадничать. В конце концов, те несколько тысяч, которые он заплатит Монтеру (его кличка Хитер-Монтер, настоящая фамилия, которой он очень стесняется, — Иванов), дела не меняют. Тем более что ни о каких процентах и речи быть не может прежде всего потому, что никто не будет знать реальной ценности.

Во-вторых, ему нужен был человек на улице, чтобы мог телефонным звонком (после второго положить трубку) предупредить в том крайнем случае, если неожиданно вернется профессор или подъедет милиция. Макар решил поставить на улице человека по кличке Железо. Даже при самой тщательной подготовке, даже при стопроцентной уверенности могли быть случайности. А вот случайностей-то Макар больше всего и боялся.

С большим удовлетворением он обнаружил черный ход, ведущий из кухни в проходной двор. Убедился, что внизу он никогда не запирается. В уличных дверях не только что внутреннего замка, но и петель для висячего не было.

Самым сложным моментом в подготовке были ключи. Прошло больше месяца, прежде чем Макар нашел способ их достать, да что там достать, просто взять в руки на несколько секунд — больше и не требовалось, — чтобы снять слепок. Целую неделю он неотступно следил за профессором.

Уже в половине восьмого Макар торчал под окнами профессора. Минут за десять-пятнадцать до того, как в окнах загорался свет. И вот как-то в пятницу профессор раньше обычного вышел из дому. Когда Макар занял свой наблюдательный пост, в окнах уже горел свет. «Не опоздал ли?» — с тревогой подумал Макар, но вскоре, увидев профессора, выходящего из дома со своим неизменным портфельчиком, успокоился.

«И куда его в такую рань несет», — думал Макар, зябко поеживаясь и кутаясь плотнее в теплый мохеровый шарф.

Профессор не направился в университет, как обычно, а, сев на тридцать первый троллейбус, доехал до Сандуновских бань.

Вздых облегчения невольно вырвался у Макара. Дело складывалось как нельзя лучше. Оставалось выяснить, постоянный ли он посетитель бань. И точно ли пятница — его день.

На это ушла еще неделя ожидания. Но профессор не подвел. В пятницу рано утром он, как и в прошлый раз, отправился в Сандуны, где его уже давно поджидал Железо (человек, до исправительной колонии занимавшийся эпизодическими кражами, а ныне известный своим пристрастием к игре в «железку»).

Бумажник профессор сдал на хранение банщику. Железо, расположившись в той же кабинке, что и профессор, со своею полдюжиной пива, выждал удобный момент и, вытащив ключи из профессорских брюк, неторопливо и тщательно сделал слепки.

Оставалось только разобраться с приходящей домработницей Настей. Ее график узнать было несложно. Она приходила к профессору четыре раза в неделю по утрам.

Все было готово, и оставалось только ждать удобного случая.

И вот стало известно, что профессор Симонов улетает на неделю в Прагу на международный симпозиум.

Дверь Макар открыл уверенно и быстро, по-хозяйски. Втянув за собой Монтера, он бесшумно и тщательно на все запоры закрыл дверь. Зажег свет в прихожей. Оглянулся на Монтера. У того по вискам из-под шапки тек пот. Макар знал, что руки у него сейчас в перчатках мокрые. Монтер всегда потел на «деле» и нервно хихикал. В этом, пожалуй, и выражалось все его беспокойство. В остальном хладнокровия ему не занимать. Он никогда не суетился и не ошибался. И был бы, может быть, идеальным партнером, если б не пил. Пьяный становился болтливым и хвастливым.

— Ну, раздевайтесь, юноша, — усмехнулся Макар. — Работа предстоит долгая. Как бы вам не запариться. А то выйдете на улицу и простудитесь...

Монтер хихикнул и стал неловко снимать пальто. Он стащил вместе с рукавом перчатку, и она упала на пол. Монтер давился от смеха, на шаривая ее на полу.

— С вашим чувством юмора нужно идти на сцену, юноша, — самодовольно улыбнулся Макар.

Настроение у него было превосходное. Все складывалось удачно, точно ложилось на его продуманный до мельчайших подробностей план. Он бесцеремонно приложил свою огромную ладонь к губам Монтера и прислушался. Где-то тихонько журчала вода.

— Наверное, в уборной утечка, — понял его Монтер.

Они еще раз тщательно вытерли ноги о ворсистый коврик перед дверью и пошли к полуоткрытой двери, явно ведущей в комнаты.

Макар светил фонариком в пол, и тонкий снопок света, отражаясь от зеркального темно-красного паркета, бросал на дорожную мебель приглушенные, коричневые тени. Первая комната была гостиной, потом шел кабинет, и через него был вход в спальню.

— Начнем с кабинета. Может, там все и образуется...

Макар потащил к окну маленькую стремянку, которую он заметил между стеллажами, и слегка подтолкнул к ней Монтера. Тот вскарабкался на самый верх и нагнулся, забирая от Макара свернутую в тугую пачку плотную черную штору. Он прикрепил штору к деревянному карнизу, подоткнул все щели сверху. Макар хозяйственно расправил внизу все складки и, на шарив фонариком выключатель, включил свет.

Они одновременно оглянулись на книжные полки. Одна из них была полностью уставлена кляссерами.

— Не скоро мы ее найдем... — хихикнул Монтер.

— А вот спешить-то нам и некуда, — довольно сказал Макар и с любовью оглядел штору. «Нет, все-таки я пока еще кое-чего стою. Кое-чего, кое-чего...»

— А что, мы действительно только одну возьмем? — недоверчиво спросил Монтер. — Чем нам другие-то помешают? Вытряхнули бы все в полиэтиленовый пакет — и всех дел. А если они тебе не нужны, я их сам толкну. Есть у меня один жучок — марками занимается. Обдерет, конечно, но все-таки даст какие-то деньги, — быст-

ро говорил Монтер, с трудом сдерживая судорожную улыбку.

— Хватит болтать, — жестко сказал Макар.

«Идиот, — раздраженно думал Макар. — Вроде всем хорош, но глуп как пробка. Нет, нужно кончать. Можно было бы работать, если б было с кем. Жучок, видите ли, у него есть. Да с первой же дюжиной марок вы загребите вместе со своим жучком. Кому будете сдавать? Шантрапе всякой. К настоящему коллекционеру побойтесь подойти. А те все равно, рано или поздно, выйдут на коллекционера, он узнает марку, вспомнит, у кого она украдена, и повьется веревочка... И очень быстро. Дяденьки с Петровки очень аккуратно вами займется.

Конечно, только одну. Откуда им, дуракам, знать, что эта одна дороже трех таких коллекций. Впрочем, наверное, догадываются. Ну и черт с ними. Нужно и вправду смотреть, чтоб не набил себе карманы каким-нибудь барахлом.

И разве могу я быть уверен, что кто-то из вас на первом же допросе меня не заложит. Пообещает гражданин следователь пару годков скостить, и ой как быстро язычок развяжется, как сладко запоет мой петушок».

— Начнем с крайнего клясера. Ты — первый, я — второй, и таким же образом ставить на полку. И чтоб никакого беспорядка. Образец держи все время перед глазами. На вот.

Он достал из записной книжки изображение марки с остророва Святого Маврикия, вырезанное им из журнала. Вот, пожалуйста, клочок бумаги, а стоил ему трех дней работы. Ведь не пойдешь в Библиотеку имени Ленина и не спросишь в лоб: дайте, мол, мне журнальчик с маркой. Пришлось поить одного коллекционера, члена филателистического общества, и по капле, по крошке вылавливать из его пьяной болтовни нужные сведения... Нет, это дело должно выгореть. Обязательно. Иначе... Иначе все зря: и подготовка, и затраченные деньги, и долги, рискованные поиски покупателя — подданного одной маленькой европейской страны, с которым они три часа торговались, бродя по заснеженным аллеям Сокольников. Он знал, что только за границей могут дать хорошую цену и сохранить в тайне имя продавца. Но одно дело знать, другое дело найти. Это было очень трудно. Покупатель был цепкий, как паук.

Интересно, сколько он заработает на этой марке?

Во всяком случае, когда ударили по рукам, сойдясь на девяносто тысячах, вид у него был не слишком удрученный. И всю обратную дорогу он бормотал себе под нос: «Олл райт! Олл райт!»

Они успели посмотреть по одному классеру.

— Ставь аккуратнее, — сказал Макар, — чтоб твои были только четные. Если не найдем, я пройду по твоим второй раз.

— Что я, сам слепой?

— Помолчи. Отвлекаешь.

И тут раздался первый звонок в дверь. Макар, сделав Монтеру знак не шуметь и лучше вообще не двигаться, мягко ступая, неслышными шагами направился в переднюю. Припал к глазку. В прихожей света нет, так что там, на лестнице, не будет видно, что в глазок кто-то смотрит.

Перед дверью стоял какой-то парень в серой пушистой шапке и телогрейке, с обшарпанным чемоданчиком.

«Кто-то из ЖЭКа, очевидно, слесарь», — решил Макар. Он еле сдержал громкий вздох облегчения.

Скрипнула дверь. Из гостиной высунулась бледная потная физиономия Монтера. Он спрашивал одними губами:

— Кто это?

Парень звонил настойчиво.

Макар прикрыл глазок металлической заслонкой и тихонько включил свет в прихожей. Ему было невозможно стоять в темноте и слушать резкие настойчивые звонки. Краем глаза он увидел, как на полу в кухне блеснула вода. Он осторожно включил и тут же погасил свет. Все стало ясно. Что предпримет парень? Макар потихоньку отодвинул заслонку глазка, приложился к нему и тут же отскочил, чуть не вскрикнул. Над самым ухом оглушительно и внезапно проревел звонок.

В ванной на вешалке висел большой стеганный халат. Макар поспешно влез в него и затянулся поясом с кистями. Шагнул к двери. Прислушался. Парень с кем-то разговаривал:

— Не беспокойтесь, что-нибудь придумаем... в крайнем случае дверь взломаем. Пойдете в свидетели?

«Надо пускать. Надо пускать. Если действительно начнут ломать дверь? Можно было бы смыться, пока он ходит за инструментами и дворником, но потом они повесят огромный амбарный замок. А, черт, почему рань-

ше не вызывали? Почему не видели? Не выходил из кабинета... Ладно, в конце концов, мальчишка, сопляк. А если он знает профессора? В крайнем случае можно будет отбрехаться. Родственник и все такое. Жаль. Очень не хотелось бы, очень... Но не бросать же. Ну уж нет, не брошу, пусть хоть наряд милиции. Другого случая не будет».

Макар медленно открыл дверь.

«Ничего. Симпатичный мальчишка, рослый, крупный, с веселым лицом. Хмурится, притворяется, что сердитый, строгий.

Если Монтер высунет свою рожу — прибью, как собаку. Потом, конечно. Очень неприятная штука — словесный портрет и фоторобот. По одному лицу трудно ориентироваться. Два лица — это уже кое-что.

Где же у них здесь может быть тряпка? Ведро еще...

Что он так долго возится? Черт с ней, с водой. Ах, да, к соседям протекает. Хорошо бы Монтер нашел марку. А что, если найдет и скроет? С него, с дурака, станет. Не с кем работать, не с кем. Куда он ее денет, идиот? Кто даст ему настоящую цену?

А кто мне даст настоящую цену? Полмиллиона французских франков. Только в Париже. Здесь и девяносто тысяч хорошо. Но с меня-то на Петровке спросят полную цену...

Что он возится?!

Что это?!

Идиот, уронил что-то! Надо выходить из положения. Жаль. Теперь он знает, что я не один. А-а! Какая разница. Лишь бы этот кретин не высывался».

— Валерий Николаевич! Что у вас там случилось?

«Слава богу, пронесло. Закурить бы. Можно закурок опустить в уборную. Ну нет! Не расслабляться, не расслабляться! Надо держать себя в руках. Пусть случайность... Кто мог знать. Но все остальное должно быть по нотам. Я был готов к случайности.

Что, что это?! Телефон?! Железо...

Спокойно! Черт, дрожат ноги. Спокойно. Это телефон. Это не Железо звонит. Три... четыре... Может, этот дурак разучился считать до двух. Пять, шесть, надо подойти. Это не Железо. Подойти — и что?»

Макар застал Монтера с трясущейся челюстью в дальнем от телефона углу.

— Что будем делать? Пускай звонит...

— Идиот, я же дома, я же должен поднять трубку.

— Может, поднять и опустить трубку?

— А дальше? — прошипел Макар, хватая толстый клетчатый плед с дивана и укутывая им телефон. — Ведь меня же все-таки нет дома. Я в Праге на международном симпозиуме. Когда ты научишься соображать? Марку нашел? Нет? Смотри мне...

— Долго он еще там? Он не догадывается?

— Зачем догадываться, он знает, что здесь сидит Монтер и мечтает украсть всю коллекцию. Короче, упаси тебя бог высунуть свой потный нос в прихожую. В дверях прищемлю! Ты меня знаешь...

— Ладно, ладно, сам понимаю...

«Что он так смотрит? Неужели догадывается? Не слишком ли он долго возится? Ерунда. Просто цену набивает, хочет на чай сорвать. Вот и руки трясутся. Спокойно. Мерещится тебе, Макар. Если сейчас оглянется, то, значит, я прав — догадался. Не оглядывается. Оглянулся. Зачем я, дурак, ляпнул, что заработался... Сказал бы правду.

А если догадывается? Вот еще раз посмотрел. Ну и что?

Кажется, все. Слава богу. Конечно, не догадывается. Если б догадался, то, наоборот, поторопился бы, как-нибудь сляпал бы, и побежал бы в милицию, и считал свой гражданский долг выполненным. Впрочем, он не похож на труса, он же знает, что я не один. И неизвестно, что у нас в карманах. Шпана-домушники всегда носят с собой всякие железки... Нет, конечно, он не догадывается.

Почему потекло в том углу? Или я просмотрел. Он на моих глазах отворачивал и заворачивал муфту. Я точно видел, что трубу он не свернул. Черт меня раздери, опять все сначала...»

...«Профессор» стоял перед Сергеем молча, переминаясь с ноги на ногу, точно большое грузное животное.

«Ведь не должен пустить. Если я прав, он не должен меня пустить», — думал Сергей.

«Профессор» посмотрел на его ботинки и сказал:

— Не стоит пачкать пол. Я сейчас принесу телефон, — и скрылся в глубине квартиры.

Сергей сел на стул. «Конечно, проще принести. Конечно, я наслежу, если пойду туда. Так пустил он меня



или не пустил? Скорей не пустил. Так прав я или не прав? Неизвестно».

«Зачем ему телефон? — чертыхался про себя Мака-  
р. — Волынка. Пальчики ведь оставлю. Пальчики —  
ерунда, можно стереть. Значит, так: ручка двери, еще  
одна и телефон. Все нужно помнить, все...»

Монтер поднял на Макара испуганный взгляд.

— Что там? — прошептал он.

— Копаются, черт его возьми.

— Что будем делать?

— Что делали, то и будем делать. Сиди спокойно.  
Понял меня?

— Понять-то понял, только вот как дальше-то быть?

— Сказал — продолжай искать. И не высовывайся.  
Можешь ходить, шуметь, свистеть. Не сиди здесь тихо,  
как мышь. Звучи время от времени. Только интеллигент-  
но звучи, мебель не двигай. Спроси меня что-нибудь от-  
сюда.

Сергей сидел, ждал. «Профессор» вышел из каби-  
нета, протянул ему телефон на длинном шнуре. Сере-  
га невольно посмотрел на его руки. «Ведь действительно  
профессорские», — усмехнулся он про себя.

Анечка подняла трубку сразу.

— Это я, Сергей...

— Да, ну и что там у тебя? Скоро вернешься?

— Да, понимаешь, какая штука, тронул я здесь в  
одном месте... Знаешь эти старые дома? Все полетело к  
чертям. Тут нужно или сгон менять — весь ржавый, или  
хотя бы на скорую руку краской подмазать. А у меня  
ничего с собой нет. Ты позови Степана Константинови-  
ча и скажи ему, чтобы он принес...

— Какого Степана Константиновича? Участкового?

— Да, чтобы принес мне сгон, краску и лен, у меня  
уже кончается.

— Алло, алло, Сергей, ты что говоришь? Какого  
Степана Константиновича? Почему он тебе должен  
приносить лен?

— Да, понимаешь, мне не хочется два раза концы  
делать. Тут люди спешат, нужно побыстрее.

— Алло, алло, Сергей...

Сергей говорил, не обращая внимания на ее вопро-  
сы, говорил так, как будто его понимали, будто ничего  
особенного в его просьбе не было, но Анечка изумля-

лась выше всякой меры. Она долго ничего не могла понять, потом, уловив какую-то непохожую на него настойчивость в голосе, несообразие просьбы, поняла, что происходит что-то чрезвычайное, и под конец уже стала поддакивать.

— Да, хорошо, я сейчас к нему пойду, — говорила она, — нужно, чтобы он пришел к тебе, скажи? Скажи «да»...

— Ну, конечно, полдюймовый сгон, я знаю — у него есть, мы вчера нарезали, — настойчиво повторял Сергей, подчеркивая чрезвычайность просьбы.

— Хорошо, я поняла, поняла, подожди, я сейчас...

— Да. Позови его... Я подожду.

Макар слегка успокоился. Ничего опасного в разговоре не было, кроме того, что придет еще один человек. «Ну, это не страшно, — подумал он, — можно будет уйти в кабинет и оставить тут слесаря одного. Тот ему передаст сгон и уйдет. Не будут же они вдвоем здесь торчать. А если и будут, то быстрее сделают. Можно будет не показываться второму слесарю».

Сергей теперь знал, что Аня сделает все возможное, что Степан Константинович обязательно придет, она сумеет его убедить. Он вздохнул, успокоился, стал оглядываться по сторонам. И вдруг перехватил взгляд «профессора», который стоял ближе к кухне, рядом с открытым чемоданчиком, и внимательно рассматривал его содержимое. Проследив за взглядом, Сергей похолодел. На самом видном месте, сверху, на пучке льна лежал новенький сгон. Бог с ним, со сгоном. Может быть, «профессор» и не понимает, что к чему, не знает, что такое сгон, но в углу чемоданчика стояла не вызывающая никаких сомнений баночка из-под майонеза, наполовину заполненная краской. Спутать ее с чем-то другим было просто невозможно.

— Алло, алло, ты меня слышишь? — почему-то шепотом спросила Анечка, — его нет...

— Ну, ладно, — вяло ответил Сергей. — Нет так нет. Я что-нибудь сам придумаю.

— Я не понимаю тебя... Мне его все-таки найти?

— Да. Я, как закончу, сразу приду.

— Значит, прислать?

«Ах, щенок, значит, понял, значит, все-таки понял. Ну, хорошо, понял... Тогда чего он здесь торчит? Как будто не боится? А разве есть такие, которые не боятся? Я и то боюсь. Монтер вон как боится. Что же де-

лать-то, что делать? Понял, хорошо, понял. Интересно, а я-то понял? Я должен понять? Ну, конечно, понял. Я ушлый профессор. Я из трудовой семьи профессора. У меня папа был слесарем-сантехником. Я эту профессию знаю лучше его. Конечно, я понял!»

— В чем дело, молодой человек? Что происходит? Вы почему не заканчиваете ремонт? Что вы здесь волюнку развели? Вон у вас сгон лежит, вон у вас краска. Или что, цену себе набиваете? На чай хотите? На чай я вам и так дам.

— Я не беру на чай, — мрачно ответил Сергей.

— Тогда делайте быстрее и уходите.

«Хорошо, я сказал: «Уходите». А отпускать-то его нельзя. Наверняка он понял. Пощупать надо, убедиться».

— Я думал, что выложил в мастерской... — пробормотал Сергей. — Сейчас закончу.

Он достал из чемодана пучок льна, краску и подошел к злополучной трубе.

— Чуть что — сразу чаевые! — ворчал он как бы про себя. — Все думают, что мы крохоборы.

«В конце концов, — решил он, — сделаю и уйду. А там — черт с ним. Найду Степана Константиновича или другого постового и просто ему расскажу все. А он, если захочет, пойдет, не захочет — не пойдет.

Во всяком случае, я дураком не буду выглядеть. А то разыгрываю из себя сыщика».

«...Да, выпускать-то его нельзя, раз он что-то заподозрил... Не знаю, понял ли он до конца, он, наверное, этого и сам не знает, но заподозрил. А раз хотел оттянуть время, раз хотел что-то уже предпринимать, значит, обязательно и дальше будет действовать. Похоже, что он не из трусливых. Не знаю, рискнул бы я на его месте так вот оттягивать время...

Что значит выпустить?

Это значит, что надо сразу же за немытое ухо вытягивать Монтера из кабинета, быстренько сворачивать шторы, быстренько протереть пальчики на дверях и на телефоне и быстренько, как по пожарной тревоге, выметаться отсюда к чертовой бабушке. А это значит, что марка так и останется здесь. В другой раз я сюда уже не приду. А это значит, что три месяца подготовки, деньги, время, энергия — псу под хвост. И опять сидеть и ждать следующего шанса. А когда он выпадет — неизвестно. Такие дела на дороге не валяются.

Не выпускать! А как? Заболтать. Может быть, Монтер найдет? На это нельзя рассчитывать. Вообще, договоримся, Макар: не нарушать своего правила, рассчитывать только на худшее. Допустим, Монтер не найдет марки, пока я его буду заговаривать. Выпустить нельзя. Задержать трудно, но, конечно, можно...»

Он погрузился в мрачное раздумье. Он понимал, что даже в случае фантастической удачи, если ему удастся задержать на нужное время слесаря, если Монтер успеет найти марку и если слесарь ничего не заподозрит, то получится примерно такая картина: профессор хватится марки, допустим, через полчаса после приезда из Праги. Еще через полчаса будет вызвана милиция и опрошены соседи, которые непременно расскажут про вызов слесаря и ремонт в квартире. В следующие пятнадцать минут будет найден слесарь, и через два часа после приезда настоящего профессора из Праги, ну, предположим, через три, на фотороботе будет изготовлен его, Макара, достаточно точный портрет. Следовательно, тот факт, что мальчишка его заподозрил, уже не имеет решающего значения. В любом случае — уйдет он отсюда с маркой или без марки — через мальчишку, через фоторобот обязательно выйдут на него. Ну а там как повезет... Его могут и не найти.

Предположим, найдут, будут судить, докажут факт пребывания его в этой квартире и факт кражи марки. Но все равно нужно еще найти марку. А уж ее-то не найдут — в этом он уверен. Хотя и быстро работает МУР, но времени на то, чтоб хотя бы запрятать марку в надежное место, у него хватит.

Предположим, осудят. Ну что ж, много не дадут. Рецидивистом его признать нельзя — все старые грехи уже погашены. За последние десять лет Макар ни разу не попадал в руки правосудия. Значит, максимум, который он может получить, — статья 144, часть вторая, пять лет. Можно перетерпеть, можно быть примерным эком, можно самым прилежным образом выполнять в колонии всю работу, выйти если не досрочно, то в срок и стать на всю жизнь обеспеченным человеком. Но тут Макар упирался в свои убеждения. Он никогда, даже в далекой и бурной молодости, не шел на мокрое дело. Он был принципиальным противником убийства. Он понимал, что, пока ты украл, или смошенничал, или навел, есть еще шансы на продолжение, есть шансы выка-

рабкаться, отсидеться где-то в тени, отбыть свой срок и выйти еще способным к деятельности человеком, тогда еще не все потеряно и остаются шансы на будущее. Мечта его была проста, если не сказать — примитивна: взять крупное дело и уйти на покой. Одно крупное дело и один бесконечный, до самой смерти, покой. Но если сейчас нарушить всю жизнь соблюдаемый принцип, если ликвидировать парнишку — с мечтой покончено. Тогда в лучшем случае — колония до глубокой старости. И надежно упрятанная марка будет лежать мертвым капиталом. С другой стороны, ясно: пока парнишка-слесарь существует в природе, во-первых, может сорваться все дело, во-вторых, шансы на разоблачение увеличиваются в несколько десятков раз. Таким образом, возникла дилемма: либо отступить от принципа и убрать парнишку, либо отступить от дела.

Ну нет, отказаться от этого дела он не мог. Значит, нужно что-то думать с парнишкой. Если его просто оставить пока здесь, можно уже, не опасаясь разоблачения, так как выяснилось, что разоблачение или неразоблачение — не имеет принципиального значения, можно делать все при нем. Но для этого нужно парня усадить на стул и оставить так сидеть. И пускай он смотрит, пускай он видит. Но все равно ему нельзя показывать Монтера, тогда шансы быть найденным увеличиваются вдвое. А они и так достаточно велики.

Всяких заграничных штук-дрючек с газом там или еще с чем-нибудь у Макара не было. Он рассчитывал сработать втихую. Следовательно, оставалось просто грубое физическое насилие. Взять парнишку и связать. Но вязать придется одному. А парнишка, видать, не из тех, кого можно просто так вот связать. Весит он, пожалуй, не меньше Макара, а моложе вдвое. И к тому же настороже, не расстается с газовым ключом. Значит, остается одно: оглушить, несильно оглушить, на полминуты, этого хватит, чтобы потом заткнуть рот. А как? Ну, это уже вопрос техники. Обмануть его Макар сможет. Тут уж молодость, неопытность парнишки на руку Макару. Но он был обязан испробовать самый легкий и безболезненный путь: заговорить парнишку. Итак, сначала попытка заговорить, а не выйдет — решительные действия.

На том Макар и порешил. И даже успокоился, ибо знал, как он будет поступать в одном и в другом случае. Программа действий была готова. И очень своевре-

менно, потому что слесарь закончил работу и вышел из кухни.

Сергей собрал инструменты в чемодан, хотел было положить туда и ключ, но оставил его в наколенном кармане, захлопнул чемодан, вышел из кухни, прошел в туалет, открыл воду, вернулся, убедился, что нигде не течет, поднял чемоданчик и вяло сказал:

— Ну, вот и готово.

Когда Сергей повесил трубку, Аня некоторое время сидела в оцепенении. Хоть он и старался говорить обыденным голосом, она поняла: что-то произошло. Что — неизвестно, и это нагоняло еще больше страха. И уж совсем добило ее то, что Степана Константиновича не было на месте. И где его искать, она сейчас никак не могла сообразить. Взяв себя в руки и кое-как успокоившись, она стала рыться в конторских книгах, надеясь найти там домашний адрес Степана Константиновича. Как назло, под руку попадались книги дежурств, графики, табели, словом, все, что угодно, кроме книги адресов.

И вдруг взгляд ее уперся в листок бумажки, покоящийся под стеклом, на столе, на нем был записан телефон дежурной части отделения милиции и домашний телефон участкового.

Она набрала номер. К телефону долго никто не подходил. Потом не то низкий женский, не то мужской голос сказал, что Степана Константиновича нет дома.

Убедившись, что ремонт сделан, и сделан хорошо, «профессор» неожиданно оттаял. Он даже позволил себе улыбнуться и стал как-то добродушнее, шире:

— Ну что, молодой человек? Фирма гарантирует?

— Гарантирует... — сказал Сергей.

— А на чай так решительно и не берете?

— Да нет, не беру.

— Понятно. Взятки не брал, только борзыми щенками. А как насчет борзых щенков?

Сергей пожал плечами.

— Я имею в виду — может быть, по случаю праздника стаканчик пропустите? Возьмите в холодильнике, у меня там стоит кое-что.

— Да нет, спасибо, мне нужно идти.

— Вот смотрю я на вас, — благодушно и неторопливо завел речь «профессор», — молодой парень, работает слесарем. Наверно, не случайно. Ведь не это же цель жизни — быть слесарем-сантехником. Наверно, учитесь где-нибудь?

— Да нет, еще не учусь, — неохотно ответил Сергей, косясь на дверь.

— Стало быть, будете поступать?

— Да, буду. Ну, я пойду...

— А в какой институт? — оживился «профессор».

— Я еще не решил. Поступал в МИФИ.

— Понятно. Значит, физика привлекает. Понятно, понятно... А может быть, все-таки передумаете, махнете к нам в университет, на исторический? Знаете, по бла-ту — не по бла-ту, а все-таки лицо знакомое. Я в приемной комиссии не последнюю роль играю...

— Да нет, меня что-то не тянет к гуманитарным наукам.

— Жаль, жаль. А то и мне бы удобно было: чуть что с водопроводом, не смею задерживать. А впрочем, может быть, действительно... У меня хорошее вино есть, друзья из Тбилиси прислали.

— Да нет, спасибо, я не пью... На работе, — поправился Сергей.

Он шагнул к двери и вопросительно посмотрел на «профессора». Он видел, что тот запер дверь на внутренний замок, а ключ положил в карман, и поэтому не мог выйти сам, как обычно это делал. Любые системы замков за свою уже годовую практику он знал наизусть и поэтому не дожидался, пока хозяева откроют дверь, и выходил, безошибочно нажимая на нужный курочек.

— Да, чуть не забыл, — сказал «профессор». — Вы знаете, у меня в уборной постоянно утечка воды. По ночам, когда я работаю, в доме тихо, и это ужасно раздражает.

— Ну хорошо, — сказал Сергей, — я посмотрю. — И со звоном поставил чемоданчик на пол.

«Что ж, похоже, он собирается меня задержать. Зачем? — подумал Сергей. — Во всяком случае, если раньше он торопился выпроводить меня, то сейчас не спешит».

«Черт возьми, ты все-таки кое на что годишься, — думал Макар. — Вот ведь раздражал, действительно раздражал шум воды. И вот — пригодилось».

Сергей заглянул в сливной бачок, чуть тронул по-

водок поплавка, и утечка сразу прекратилась. Вся операция заняла не больше минуты.

— Ну вот, теперь утечки не будет. Можете работать спокойно, — сказал Сергей.

— Ну уж теперь я вас просто так не отпущу. Вызывали по одному поводу, да и не я вызывал, а потом нашел дополнительную работу. Нет, нет, теперь я должен вас угостить. Знаете что, давайте так: в кухне еще сыро, вы уж идите сами, открывайте холодильник, наливайте, а я сейчас подойду.

С этими словами «профессор», не дав Сергею и слова сказать, ушел из коридора и скрылся в глубине квартиры. Не было его минут пять. Сергей уже начал нервничать, он не мог открыть дверь, запертую на внутренний замок.

Монтер сидел, обложившись классерами. Лоб у него был мокрый от напряжения. Глаза покраснели. Он вопросительно посмотрел на Макара и шепотом спросил:

— Ну что там?

— Говори в полный голос, — тихонько ответил ему Макар и сказал уже так, чтобы было слышно в коридоре. — Ну, как наши дела? Продвигаются? Что вы успели сделать тут без меня? Очевидно, мы сегодня никуда не поедem, уже опоздали. Так можете работать спокойно.

Монтер хотел сказать что-то громко, что-то ответить, но голос у него предательски дрогнул, и он пустил пелуха.

— Хорошо, значит, вам еще остается... С этим вы уже закончили? Поставьте книги на место и займитесь вот этой полкой.

И Макар указал на те классеры, которые, по его мнению, следовало осмотреть в первую очередь.

— Я скоро к вам подойду. Мне надо проводить молодого человека, угостить его. Оказался очень симпатичный парнишка, — сказал он немножко громче, чем следовало бы.

«Ага, значит, он серьезно решил меня не выпускать. Почему, зачем? Выходит, они еще не все сделали здесь? Если принять версию, что это жулики, значит, им еще здесь зачем-то нужно быть. Он понимает, что я тут же побегу к первому встречному милиционеру. Понятно. Нужно попытаться уйти. И, во всяком случае, эта по-



пытка даст мне полную уверенность: если это профессор, он не станет меня задерживать так настойчиво. Если это жулик... Тогда посмотрим. Во всяком случае, будет полная ясность».

«Профессор» вернулся и застал Сергея стоящим уже около самой двери.

— Мне все-таки нужно идти. Большое спасибо за предложение, очень заманчиво испробовать настоящего тбилисского вина, но нужно идти. Как открывается дверь?

«Профессор» молча покачал головой.

— Но мне действительно нужно идти, — сказал Сергей. — Меня ждут в диспетчерской.

— Ты ничего не понял, сынок? Ты не выйдешь пока отсюда, — мягко, чуть ли не ласково сказал «профессор». — Подожди немножко, поговори со мной. Ты думаешь, тебе это будет неинтересно? Поговори. О чем бы ты хотел поговорить? Мне вот, например, было бы интересно узнать, откуда у тебя, в твоей неглупой голове, появились вот такие мысли. Ведь они у тебя появились, правда?

Сергею предлагали игру в открытую.

«Ну что ж, — подумал он, — играть так играть. Козыри-то у меня в кармане, а не у него. Аня найдет Степана Константиновича, обязательно найдет. Хотя черт его знает...»

И, повернувшись к «профессору» и подавив вздох облегчения, так как сразу почувствовал себя спокойнее, увереннее, он сел и сказал:

— Ботинки.

— Что ботинки? — удивился Макар.

— Ботинки мокрые, а вы сказали, что заработались. И вот так, одно на другое. Да и... вообще, какой вы профессор, — сказал Сергей, — подумайте сами.

— Значит, я, по-твоему, недостаточно образован, чтобы играть роль профессора?

— Я не знаю, как у вас дело обстоит с образованием, но лексикон у вас явно не профессорский... А если я все-таки попытаюсь выйти? — спросил Сергей и уверенно, спокойно посмотрел в глаза «профессору».

Тот с сожалением пожал плечами и похлопал себя по карману:

— Не получится, сынок, не надо. Очень не хотелось бы... Такой смысленный парень... Еще жить да жить. Подумай о себе. Ведь ты даже еще в институт не поступил.

Ты даже еще не стал тем, кем ты собираешься стать. Очень не хотелось бы... Не надо тебе рваться.

— Ну и сколько ж мы будем сидеть? Меня ведь все равно хватятся в ЖЭКе.

— А вот на эту тему я еще подумаю, — ответил «профессор», — тут нужно очень крепко думать, очень крепко. Я... поверь мне, я хочу тебя выпустить. Я даже не беру с тебя обещания. Ведь ты же не будешь мне обещать, что не побежишь сразу к дяденьке милиционеру. Посмотри мне в глаза. Нет, не обещаешь...

— Да, не обещаю, — сказал Сергей.

— А было бы хорошо, если б ты пообещал, это было бы очень хорошо. Ведь ты мог бы и не догадаться... Ну вот, представь себе — ты пришел, а я мог снять ботинки, я мог надеть шлепанцы. Ты пришел и ничего не понял, сделал и ушел. А? Как было бы хорошо...

— Но вы разве поверите мне, если я вам пообещаю? — спросил Сергей.

— Да, поверю, — ответил «профессор». — Если ты пообещаешь, ты не нарушишь своего слова. Ты же понимаешь, что я знаю, где ты работаешь, и буду знать, где живешь. Ты же понимаешь, что я — человек серьезный, хоть, по-твоему, у меня недостаточно образования. Но в своем деле я профессор. Ты меня не найдешь. А я тебя — всегда. Поэтому, если ты пообещаешь, я тебе поверю. Поверю, сынок. Как тебя зовут?

— Сергей.

— Что самое главное, Сережа, — ты не должен будешь врать. Когда к тебе придет дядя милиционер — а он придет, — ты расскажешь все как было. Как ты приходил, как тебя встретил профессор, как ты отремонтировал трубу и пошел домой. Следы твоего ремонта они найдут и поверят тебе. Будут к тому же показания соседей, которые тебя вызывали. Ты останешься чистым, и тебе не придется врать. А для тебя это, по-моему, самое главное, так ведь? И уж совсем в идеале было бы так: когда тебя приведут на Петровку и включают фоторобот, чтобы ты меня не узнал. Ну а на это я уж не рассчитываю, на это мне рассчитывать пока не придется. Ведь ты поверь мне, Сережа, я тебе говорю со всей искренностью, мне очень не хотелось бы тебя ликвидировать. Но ты можешь поставить меня в такое положение, что у меня не будет другого выхода. Я буду вынужден это сделать. Вы-нуж-ден, — повторил он по слогам.

— А я думаю, вы не сделаете этого, — сказал Сергей.

— Почему?

— Ну, погремушкой своей, если она есть, вы греметь не будете, а руками меня не так-то просто взять, — усмехнулся он.

— Ты прав, ты прав, сынок, умница, хорошо соображаешь, и я даже подумал: если бы ты был хоть чуточку умнее и понимал толк в этой жизни, я предложил бы тебе работать со мной. Много, много дел, а людей нет. Ну что ты думаешь, у меня там сидит человек? Нет, там сидит не человек. Шпана. Работать не с кем. Но твоя сообразительность вселяет в меня некоторую надежду. Ведь ты же еще немножко подумаешь и сообразишь, что перед тобой дилемма: «быть или не быть». А «быть» можно хорошо. Ведь я тебе за эту маленькую услугу дам немножко денег. Ты молодой, тебе нужны деньги, правильно? Зарабатываешь ты немного, у тебя наверняка есть девушка, которую тебе хотелось бы развлекать, угощать, веселить. В твоём возрасте это обычное дело. Я бы тебе дал денег. Поверь мне, твоя услуга стоила бы, ну, тысячи две, я думаю. Хватило бы тебе двух тысяч?

Никаких денег у Макара не было. Он просто заговаривал Сергея. Но тут у него действительно мелькнула мысль, что парень хорош. И главное — честен, имеет свои принципы. А принципы, даже в его деле, не последняя вещь. Ведь всех его партнеров и губит отсутствие принципов.

— Если я возьму у вас деньги и пообещаю вас не узнать, я автоматически становлюсь соучастником, — сказал Сергей.

— Да, конечно, — проникновенно сказал «профессор», — именно соучастником. В этом еще одна гарантия, что тебе можно будет верить.

— Да, положение, — усмехнулся Сергей, — никогда не думал, что такое может быть. Думал, что такое возможно только в кино.

— Да, положение необыкновенное, — согласился «профессор». — Я тебя не понимаю, сынок. Для чего тебе это все нужно? Если б на твоих глазах мучили ребенка, отнимали бы последний кусок хлеба у старухи, и ты вступился бы за них. Тогда бы я тебя понял. Но сейчас я тебя не понимаю. Ведь, по сути дела, ты сейчас не борец за справедливость. Ты знаешь кто?

— Кто? — мрачно спросил Сергей.

— Ты сейчас сторож чужого добра, притом настоящим сторожам платят деньги, сторожевую собаку кормят, а ты не получаешь ни того, ни другого. Что, на самом деле, неужели ты думаешь, что мы лишаем профессора последнего куска хлеба? Нет, сынок, у него кое-что останется на пропитание. Или ты сомневаешься?

— Все это так, — пожав плечами, сказал Сергей, — я как-то даже не думал на эту тему. Просто увидел, что воруют, и решил, что надо вмешаться. А то ведь можно привыкнуть не вмешиваться... А что вы здесь ищете? — неожиданно спросил он.

«Профессор» изумленно поднял брови.

— Сынок, ты задаешь неприличные вопросы. — Вкрадчивый доброжелательный тон исчез. — Так вот. Ты будешь сидеть здесь, пока мне это надо. Я с тобой хотел договориться по-человечески. Ты будешь сидеть тихо, как мышь, и упаси тебя бог делать резкие движения, упаси тебя бог.

— Я... — пропищал из кабинета Монтер и осекся, видимо, сорвался голос от волнения. Прокашлялся и повторил: — Я закончил.

Макар оцепенел:

— Вы уверены?

— Да, конечно, уверен, — радостно откликнулся Монтер, — еще как уверен.

— Та-а-к, — с трудом сдерживая вздох облегчения, сказал Макар, — та-а-к! — и посмотрел на Сергея. — Ну что ж вы, юноша, хотели куда-то идти? Вы куда-то спешили? Что ж, как сказал бы на моем месте профессор, не смею больше задерживать.

Он подошел к двери, вставил ключ в замочную скважину и два раза повернул его:

— Прошу.

Сергей нерешительно шевельнулся на табурете, потом медленно встал, поднял чемоданчик и молча пошел к выходу, пошел прямо на «профессора» так решительно, что тот был вынужден посторониться и пропустить его. У дверей Сергей остановился, поставил чемоданчик на пол, взялся за собачку английского замка, потом неожиданно повернул ключ внутреннего замка и спрятал к себе в карман.

— А знаете, — сказал он, поворачиваясь спиной к двери, отодвигая ногой в сторону свой чемоданчик и положив руку на газовый ключ, торчащий из наколенного

кармана, — знаете, теперь уже я опоздал, и спешить мне, в общем-то, некуда. А наша беседа была так увлекательна, что мне хочется ее продолжить.

«Профессор» побагровел, набычился, шагнул к Сергею. Тот наполовину вынул газовый ключ из кармана. Если же появится нож, стилет или что-нибудь в этом роде, то Сергей рассчитывал на себя, на свою силу, молодость, умение защищаться, и манипуляции с газовым ключом были с его стороны небольшим представлением: он не собирался им орудовать, он надеялся только на свои руки. Больше того, он даже думал, что газовый ключ в наколенном кармане будет ему мешать, но специально акцентировал внимание противника именно на газовом ключе.

Сергей стоял, прижавшись к самой двери, и ему казалось, что он даже спиной прислушивается, не поднимается ли кто по лестнице. Он с нетерпением ждал появления Степана Константиновича. Он решился на этот отчаянный шаг потому, что понимал: если уйти сейчас, когда у них уже все закончено, то они тут же исчезнут. И если раньше он задерживался в этой квартире, чтобы что-то узнать, сейчас он знал уже все. Он знал наверняка, что это преступники, знал, что дело свое они закончили, знал, что сейчас они будут уходить. И тогда их придется где-то ловить, искать украденные ими вещи. А пока все на месте: и они и украденное. Поэтому он принял единственно верное, на его взгляд, решение: задержать их здесь, на месте преступления.

«Все, все понимает. Все понимает, мальчуган, — мрачно думал Макар. — Ну ничего. Он все знает, все, кроме одного только, что он очень молод. Что, встречаясь с таким зверем, как я, нужно, кроме силы, ума, ловкости, иметь еще мой опыт».

Он стоял, покачиваясь с пятки на носок, засунув руки в карманы, набычившись и нарочито напуская на себя разъяренный, отчаянный вид. Глядя на него, можно было подумать, что он готов на крайность, что он сейчас буквально кинется лбом пробивать эту дверь вместе с Сергеем. Но на самом деле мысли Макара были куда более спокойными и практичными. Он обдумывал план действий в связи с изменившейся обстановкой. Прежде всего он еще раз вспомнил, где, в каких местах следует протереть «пальчики». Потом подумал, как вывести Монтера. Явной, неожиданной опасности не было, парнишка — это была опасность, которую он уже знал, и

сердце его билось не чаще, чем полчаса назад. Пожалуй, немножко чаще, но это сердцебиение было уже от радости: марка найдена! Операция, которая несколько раз была на грани провала, прошла, можно сказать, успешно. Осталось только: «пальчики», вывод Монтера — и можно в глухой отрыв.

— Ну что ж, — сказал он, тяжело посмотрев на Сергея, — опоздал так опоздал.

И, уже не обращая на него внимания, вынул из кармана резиновые хирургические перчатки, не спеша натянул их на руки, потом достал носовой платок, тщательно протер телефон, ручку двери и направился в кабинет. Вернулся он быстро, и Сергей отчетливо слышал, что не один. Но тот, второй, остался за дверью, ведущей в коридор. Вернулся он спокойный и доброжелательный. Сергей сразу понял, что опять начнутся уговоры.

— Ну что, Сережа, — ласково сказал «профессор», — может быть, вместе выйдем? Или так и не пустишь? — И улыбнулся кривой улыбкой. — Я бы на твоём месте пустил. Ну что тебе с нами связываться?

Сергей хотел ему ответить в том же спокойном и доброжелательном тоне, но тут в дальнем конце квартиры раздался резкий телефонный звонок. «Профессор» второй раз за сегодняшний день вздрогнул. Звонок прозвучал еще раз и оборвался.

За дверью, ведущей в комнаты, раздался тревожный шорох. Сергей понял, что там стали переминыться с ноги на ногу.

«Профессор», словно обессилив, привалился плечом к стене и растерянно посмотрел вокруг. Потом он неожиданно поднял руку, и Сергей, не успев понять в чем дело, очутился в полной тьме. Обманул его Макар. Все-таки смог пройти к выключателю, отвести его внимание и выключить свет. Теперь осталось немного: схватить с вешалки пальто — свое и Монтера — и уйти через черный ход на кухню.

Сергей растерялся. Он слышал топот, потом почувствовал, как кто-то задел его около вешалки. Глаза, не привыкшие к темноте, ровным счетом ничего не видели. Он попытался шагнуть вперед, в пустоту, развел руками, но ничего не поймал, шагнул еще раз и почему-то очутился перед дверью в туалет.

Полоснул луч карманного фонарика, скользнул по полу, ослепил Сергея. После этого он уже совсем ниче-

го не видел. Потом шаги раздались на кухне, хлопнула дверь, и Сергей вспомнил, что видел эту дверь, запертую на массивный кованый крючок. Он вспомнил, что в этом доме есть черный ход, где проходят газовые стояки, где он сам не раз был, и что выходит он во двор, и что дальше открываются бесконечные проходные дворы, и теперь все его старания пропали даром.

В передней резко прозвучал звонок. Видно, рукоятку старинного звонка с надписью «Прошу повернуть» повернули с такой силой, что звонок прозвучал как электрический, на самой высокой ноте. Он бросился к двери, нащупал в темноте ключ, отомкнул другие запоры, открыл дверь и очутился лицом к лицу со Степаном Константиновичем.

— Что случилось?! — спросил запыхавшийся участковый.

— Они ушли через черный ход!

— Кто «они»?

— Они, их двое.

— Ну ничего. Пойдем на черный ход, — с трудом переводя дух, сказал Степан Константинович. — Оружие у них есть?

— Кажется, нет, — ответил Сергей.

Макар, пропустив вперед Монтера, грузно бежал по неосвещенной выщербленной лестнице черного хода. Луч фонарика выхватывал большие темно-зеленые ведра для пищевых отходов, пустые бутылки, выстроенные вдоль стены, стакан, забытый кем-то, окурки. Видно, черный ход убирался нечасто. Он видел согнутую спину Монтера, его голову, вжатую в плечи. Он бежал, а мысли его были далеко. Для него уже кончилось это дело. Он знал, теперь знал наверняка, что они уйдут, что, кто бы ни пришел сейчас туда, в квартиру, этот человек их не догонит. Он знал, что из этого двора есть три проходных выхода. Он знал, что через некоторое время, через очень короткое время они очутятся на ярко освещенной людной улице, где, притулившись почти вплотную к стоянке такси, поджидает его вишневый «Жигуленок». Макар видел, что плечи Монтера мелко вздрагивают, и даже раздавались какие-то всхлипывающие звуки, и тут он окончательно понял, что все уже позади. Раз Монтер начал нервно хихикать, значит, все уже позади, опасности нет. А остальное потом. По-

том его будут искать, потом составят его портрет. Найти человека в восьмимиллионном городе очень непросто даже такому сильному аппарату, как Московской уголовный розыск. Дальше у него оставались те же пятьдесят шансов из ста, и уж их-то он использует как надо, на всю мощность, на полную катушку.

Уже на первом этаже, пробегая последний лестничный пролет, Макар чутким ухом слышал, как хлопнула дверь черного хода на пятом этаже. Значит, преследователи вышли, значит, им бежать пять этажей. Макар увидел, как Монтер, набычившись, со всего размаху стукнулся в дверь, ведущую на улицу, и... отскочил, как хорошо надутый мячик. Дверь была заперта. Макар отстранил Монтера, немножко подавшись назад для разгона, со всего маху обрушился на дверь своим весом. Дверь затрещала, но не открылась.

По спине у Макара поползли крупные капли пота. Он обмяк, будто из него вынули напрягающий его стержень. Он уже ничего не думал, руки повисли, как плети, и он стоял, прислонившись к этой двери в полной прострации. Ведь он тщательно, очень тщательно ее осматривал раньше, во время подготовки, и, прежде чем приступить к осуществлению «акции», убедился, что эта дверь никогда не имела запоров, она не могла быть запертой.

Степана Константиновича Анечка встретила на улице. Он ходил в магазин за пельменями. Степан Константинович немедленно оценил обстановку и, несмотря на изумленные возгласы Анечки, повел ее сперва в глубину двора, быстро нашел кусок доски, крепко подпер дверь черного хода и оставил Анечку дежурить около нее, сказав:

— Держи ее, держи ногой. Что бы ни было, держи, не бойся.

Монтер перестал хихикать и, шурясь от слепящего света фонарика, пытался заглянуть в глаза Макару. В чем дело? Макар выключил фонарик и обессиленно опустился на корточки рядом с помойным ведром.

Сверху раздавались неторопливые шаги.



Потом, через четыре дня, когда вернется профессор, настоящий профессор Симонов, он позовет Сергея к себе в гости и будет угощать его отменным чаем и судорожно, обрадованно, напропалую хвастаться своей спасенной коллекцией, потому что без этой марки коллекции, по его мнению, просто не было бы, и будет упрашивать Сергея поступать именно к нему, в университет, и стараться втянуть его в собирательство, увлекательно рассказывая почти о каждой марке интереснейшую историю.

Потом, когда Сергея вызовут на Петровку для дачи показаний, он узнает, чем он рисковал (Макар все-таки нарушил свой принцип и перед самым бегством из квартиры забрал у Монтера нож, с которым тот не расставался. Ради марки он пошел бы на все) и что спасал... Но все это будет потом.

А сейчас он дождался вместе с Анечкой и Степаном Константиновичем, пока подъедет дежурная машина и увезет тех двоих, и возвратился в диспетчерскую. Оставалось еще два с половиной часа праздничного, хлопотливого, полного всяких неожиданностей дежурства по ЖЭКу.

**СУДЬЯ**



**ПОВЕСТЬ**

---

*Посвящается судьбе Ф. И. Захарову*

Глухая, неосознанная тревога подкралась незаметно. Он вглядывался в подсудимого, перебирая в памяти подробности этого не очень сложного дела, но тревога не проходила. Впрочем, тревога не совсем точное слово. Им овладело чувство опасности, и он долго не мог понять, откуда она грозит и в чем эта опасность. И он не понимал этого до самого последнего момента, пока не увидел жест, который все и решил...

Галоши со сломанными задниками стояли так, как он оставлял их с вечера на лестничной площадке, возле коврика, под самой дверью. Несколько раз Васильев ловил себя на том, что по утрам он невольно заряжается от этих проклятых галош, точнее, от их местоположения, вчерашним настроением. Если галоши стоят аккуратно, стало быть, вчера он вернулся домой в хорошем расположении духа.

Сегодня они стояли как солдаты на плацу. Он посмотрел на них с подозрением. «Значит, опять соседская девчонка», — подумал он и, подцепив галоши палкой, вышвырнул их на площадку перед лифтом. Правая галоша перевернулась. Петр Иванович, поглядывая на красный глазок лифта и чертыхаясь про себя, стал пододвигать ее палкой.

Наконец проклятые галоши были надеты, и тут подошел лифт.

Коридор суда был пуст, и мокрый линолеум дымился и просыхал причудливыми пятнами. Уборщицы уже спустились на первый этаж и теперь стояли там, опершись на длинные щетки, и вполголоса обсуждали Васильева. Он приходил за час до начала работы каждый день, и они каждый день обсуждали это событие, как в первый раз.

Васильев, не вслушиваясь, отпер дверь своего кабинета.

Он, не спеша, помогая себе палкой, снял проклятые галоши, положил палку на шкаф и, с трудом наступая

на больную ногу, подошел к столу и в который раз стал перелистывать материалы вчерашнего дела. Он пытался представить себе, как же произошло то, в чем ему сегодня предстоит разобраться на судебном заседании.

Он уже давно знал, что бесполезно представить себе то, что чувствовал в момент преступления потерпевший, что думал преступник, он знал, что это не нужно и даже опасно, что, поддавшись собственному впечатлению, которое наверняка окажется ошибочным, можно весь процесс направить по ложному руслу и тогда... Он даже не стал додумывать, что произойдет тогда. Он еще раз подозрительно посмотрел на папку, и снова его кольнуло предчувствие. Слишком простое было на первый взгляд это дело. Да и на второй тоже. Он не доверял простым делам, как не доверял людям, говорящим про себя: «Я человек простой». Он знал, что простых людей на свете не бывает, а значит, не бывает и простых дел.

И он снова, в который раз, открыл первую страницу дела, нашел по перечню нужный ему протокол допроса и стал неторопливо читать.

...Была среда, середина декабря. Предновогодняя суматоха еще не началась, и поэтому улицы пустели с ранними сумерками сразу же после короткого часа «пик».

Колю Никифорова мать послала в магазин за продуктами. Тускло светили фонари, по скользким тротуарам мела поземка, было пустынно и неуютно. Коля трусил мелкой зыбкой рысцей, отворачиваясь от обжигающего ветра, и чуть было не столкнулся с двумя парнями. Вздвигнув от неожиданности, он отскочил в сторону, попал сгоряча в сугроб и, зачерпнув ботинками снегу, побежал дальше. Парни выругались вслед ему.

На обратном пути Коля вновь увидел этих парней и удивился, что те недалеко ушли. Он не трусил (во всяком случае, именно так утверждал на допросе), просто ему не хотелось связываться с этими парнями, имея полную сумку яиц, молока, творога и прочих бьющихся, льющихся и мнующихся продуктов. А в том, что придется с ними связываться, он был почему-то уверен. И, недолго размышляя, Коля перебежал на другую сторону улицы от греха подальше, но при этом все же покосился на парней. Пальто у одного было расстегнуто, шапка ухарски сдвинута на затылок, а в его фигуре — в широко расставленных ногах, в руках, засунутых глубоко в карманы пальто, и по особенно напряженной, набы-

ченной шее — чувствовалась угроза. Он вспомнил, где видел этого парня. Дело было осенью, на танцплощадке во время конфликта «железнодорожных» ребят, то есть живущих в районе железной дороги — к ним принадлежал и Коля, с «фабричными», живущими в районе текстильной фабрики. Этот парень был «фабричным». Коля теперь вспомнил отчетливо и порадовался тому, что вовремя перебежал на другую сторону.

Когда-то между «железнодорожными» и «фабричными» была извечная вражда. Как она возникла, теперь, пожалуй, никто не знал и не помнил. Она передавалась как традиция, по наследству. И подростки, бывало, с благоговением слушали сильно приукрашенные рассказы завзятых драчунов и готовились к новым битвам.

Вражда давно угасла, но в последнее время неожиданно снова стала давать о себе знать. Правда, серьезных сражений уже не было, но стоило где-нибудь в общественном месте бросить клич: «Железнодорожных бьют!» или «Фабричных», — в зависимости от ситуации, — как вокруг вопиющего вырастала могучая стена соратников. Вот во время такой стычки, закончившейся, впрочем, без драки, и запомнил Коля этого парня.

Оглянувшись еще раз, он заметил, что парней стало трое. Третий, очевидно, только подошел к ним и теперь стоял, втянув голову в плечи, а тот, в расстегнутом пальто, что-то зло говорил ему. Слов Коля разобрать не мог. Где-то в глубине души у Коли шевельнулось чувство солидарности, и он стал внимательно присматриваться к третьему пареньку — не из «железнодорожных» ли он? Но нет, припомнить такого что-то он не мог, но на всякий случай остановился и поставил хозяйственную сумку поближе к забору.

Парень в расстегнутом пальто, очевидно, на чем-то настаивал и распалялся все больше. Второй парень отошел немного в сторону и стоял в расслабленной позе, прислонившись к палисаднику. Наконец тому парню в расстегнутом пальто, очевидно, надоело говорить, и он неожиданно, без размаха ударил своего собеседника в живот. Тот слегка пригнулся. Парень в расстегнутом пальто подергал его за полы одежды и потом залез к нему в карман. Вынул руку, разжал кулак и, небрежно осмотрев его содержимое, засунул обратно.

«Да ну их... — подумал Коля и наклонился за сумкой, — сами разберутся. Кстати, вот третий стоит у па-

лисадника, не шелохнется». И действительно, третий стоял, не меняя своей расслабленной позы, не вынимая сигареты изо рта, и только по тому, как она временами вспыхивала поярче, можно было догадываться, что это живой человек.

Уже подобрав с земли свою сумку и трогаясь с места, Коля заметил, как «фабричный» залез к пареньку за пазуху и вытащил оттуда какую-то книжицу. Перелистал ее и вернул. Паренек, пригнувшись, словно ожидая удара в спину, медленно побрел прочь. «Фабричный» постоял некоторое время, раскачиваясь с пятки на носок, потом быстро догнал паренька и, загородив ему дорогу, повелительно протянул руку. Это было почти напротив Коли, и он опять остановился, совершенно потерявшись и не понимая, что же там происходит. Паренек безропотно залез за пазуху, достал ту же книжицу, вынул из нее что-то и отдал «фабричному». Тогда «фабричный» лениво, будто соблюдая какой-то обязательный ритуал, ударил его по лицу. Паренек побежал, а «фабричный» неторопливо, как-то по-особенному, раскачиваясь, направился к тому, кто стоял, так и не шевельнувшись, у палисадника.

«Фабричный» что-то показал своему приятелю, тот вяло отвалился от забора, и они двинулись к магазину.

Васильев откинулся на спинку стула и даже отодвинул от себя дело. Ситуация достаточно ясная.

Как установлено следствием, произошло следующее: некто Суханов со своим приятелем Румянцевым, находясь в нетрезвом состоянии, встретили на улице неизвестного им ранее Гладилина. Гладилин сказал, что денег у него нет. Суханов ударил его в живот и обыскал карманы. Там оказалось сорок три копейки. Тогда Суханов из нагрудного кармана Гладилина достал записную книжку, где и обнаружил шесть рублей тройками. Он взял одну трехрублевую бумажку, а записную книжку с оставшимся тройком вернул и отпустил Гладилина. Потом, очевидно, решив, что взял мало, он догнал Гладилина, забрал у него оставшиеся деньги и в ответ на возмущение Гладилина ударил его кулаком в лицо.

После совершенного они с приятелем, Румянцевым (который, кстати, в содеянном Сухановым участия не принимал), купили вина и вдвоем его выпили в квар-

тире Суханова, где он живет один. Вскоре Румянцев ушел, а Суханов остался дома, ибо заснул еще до ухода Румянцева.

Васильев вот уже полчаса на разные лады разыгрывал и рассматривал про себя эту ситуацию и все-таки не мог извлечь из сознания занозу, засевшую еще неделю назад, когда он только получил это дело. Что-то необъяснимо мучило его.

Бывает, что уколешься о кактус и забудешь об этом, потом чувствуешь, что-то мешает, пытаешься разглядеть — ничего не видно, даже языком проведешь — ничего, а все-таки мешает.

Точно такое ощущение не оставляло Васильева и теперь.

Он посмотрел на часы. До начала рабочего дня оставалось всего двадцать две минуты... А потом захлопают двери, зазвенит телефон и будто вдребезги разобьет утреннюю зыбкую тишину, и уже нельзя будет вот так закрыть глаза, откинуться на спинку стула и погрузиться в неторопливые, по-утреннему свежие мысли, забыв и о текучке (когда она наконец кончится?), и о боли в ноге, и о предстоящем совещании в райкоме, и о многом другом, что составляло смысл его работы, да, пожалуй, и жизни. И уже нельзя будет сосредоточиться на этой невидимой занозе.

Но есть еще двадцать две минуты времени. Потом есть еще сам процесс, где будут не бумажки, а живые люди, значит, нечего волноваться. Нужно только как следует подготовиться. Нужно хотя бы пунктиром обвести те «белые пятна», что предстоит заполнить, стало быть, за дело.

Что же волнует больше всего? Неясное, почти подсознательное впечатление чего-то знакомого, известного, в чем кроется ключ к правильному решению. И именно это он и не может вспомнить. Почему? Он еще ни разу не жаловался на память. Значит, это очень маленькая деталь, незначительный факт. И если повезет, то он его вспомнит, но может и не повезти. Нужно просто иметь это в виду, и память, зацепившись за другой, незначительный факт, сама вынесет тот, забытый. Значит, не стоит терять на это время.

Итак: что же неясно в самом деле? Такое ли оно прозрачное, каким кажется на первый взгляд? Нет, не

такое... Неясно, почему Гладилин так безропотно отдал деньги, почему не сопротивлялся, ведь время было не позднее и улицы не совсем безлюдны. Потом неясно, во всяком случае из дела, как работники милиции нашли Суханова. Имеет ли это значение? Да, имеет. Ведь нашли они его на другой день, в половине второго, и, как следует из документов, взяли прямо с завода, где он работает слесарем. Почему на другой день? Когда было подано заявление от потерпевшего?

Васильев перелистал дело. От медленной, почти неподвижной сосредоточенности не осталось и следа. Возникло знакомое и сладостное ощущение удачи, пусть даже только начала, только намека, но и это уже кое-что и с этим уже можно работать.

Конечно, так. Заявление от пострадавшего поступило тоже на другой день. Это уже интересно...

И тут прозвенел первый телефонный звонок.

«Ну что ж, кое-что все-таки удалось нащупать», — только и успел подумать Васильев.

— Я вас слушаю, — сказал он в трубку своим ровным вежливым голосом.

— Петр Иванович, Костричкина из прокуратуры беспокоит...

— Здравствуйте, Татьяна Сергеевна, что-то давненько вас не видно?

— Да в отпуске была... Теперь вот посылают вас проверять.

— А что именно?

— Работу с условно осужденными подростками.

— Это несложно... — вздохнул Васильев.

— Можно подумать, что другое проверять нельзя. Знаем мы вас, у вас кругом порядочек.

— Не порядочек, а порядок. Но сегодня я вам все равно не смогу выкроить ни минуты. Все расписано. Нужно предупреждать заранее. Я сейчас попрошу Зою, она вам подготовит все дела за последние два года... Хватит вам за два года?

— Хватит, хватит...

— Ну вот и, пожалуйста, занимайтесь, а местечко мы вам в канцелярии присмотрим...

Там, на другом конце провода, в прокуратуре, Татьяна Сергеевна Костричкина еще долго улыбалась, положив телефонную трубку. Коллеги удивленно поглядывали на нее и пожимали плечами, а она не замечала ни взглядов, ни жестов, она вспоминала...



Первый раз она увидела Петра Ивановича в районном городке К. Она только начинала работу в прокуратуре, была молоденькая, наивная и совершенно растерянная, так как следствие по делу, на которое ее прислали из областного центра, длилось уже два месяца, конца ему не было видно и ей казалось, что здесь, в этом забытом богом городке, погибнет и будет похоронена ее юридическая карьера. И тут, очевидно, инстинкт самосохранения направил ее к Петру Ивановичу. Она слышала о нем еще в области. Сидит, мол, в городе К. перед судом, на лавочке, такой человек Васильев и, не сходя с места, решает все проблемы, и суд в городе К. чуть ли не закрывать пора, потому что все вопросы решаются этим мудрецом полюбовно, не в суде, а около, и что местное население зовет этого человека в глаза и за глаза «мировым».

Верила ли она этой легенде? С одной стороны, верила, потому что легенды так и складываются, чтоб в них хотелось верить. Вот она и верила, никоим образом не отождествляя легенду с живым человеком. А с людьми-то у нее к этому моменту сложились довольно сложные отношения. Люди вдруг оказались взрослыми, хитрыми, все себе на уме. Разумеется, речь идет о тех бесконечных подследственных, с которыми она большей частью имела дело в городе К. А что она могла им противопоставить? Свою молодость и красоту? Им была безразлична и молодость и красота. Свою искреннюю веру в справедливость? Они были далеки от справедливости и искренности. Свои знания? Знания чего? Закона? Да. Жизни? Психологии? Человека? Нет. А ведь она, уезжая в К., думала, что ее знаний ей хватит. И не только знаний, но и чувства справедливости, честности и желания защищать добро и ненависти к злу. И вот все разлетелось, развеялось, и осталось отчаяние. Уж такое это было сложное, хозяйственное дело. Участвовали в нем десятки человек, расхищались огромные деньги, страдало строительство, столь необходимое на выжженной войной белорусской земле. И Татьяна Сергеевна Костричкина плакала по ночам от бессилия, а днем снова и снова допрашивала, а по ночам снова плакала и уже не видела никакого выхода.

И вот тогда от отчаяния или, как предполагалось выше, из инстинкта самосохранения она вспомнила легенду о местном мудреце миротворце, вспомнила

о заветной лавочке, и пошла ее искать, и не нашла перед судом ни одной лавочки вообще. «Все правильно, — устало подумала она, — легенды всегда остаются лишь легендами».

Она застала Петра Ивановича в его кабинете. За обыкновенным канцелярским столом с обыкновенным казенным телефоном, с обыкновенными папками уголовных и гражданских дел сидел совершенно обыкновенный человек.

Он вежливо поднялся ей навстречу, но из-за стола выходить не стал. Пригласил садиться, справился, что привело ее к нему, и потом, весь внимание, стал слушать.

Татьяна Сергеевна говорила и говорила, пересказывала немыслимые переплетения дела, а Васильев всякий раз кивал.

Она устала говорить, поняла бессмысленность этой затеи, а именно: пересказать за один прием многотомное, неразрешимое дело — и просто замолчала, оборвав рассказ на полуслове. И приготовилась, в свою очередь, выслушать вежливый, но бесполезный совет и уйти.

— Скажите, а сколько детей у Сидоркина? — неожиданно спросил Васильев.

— Не помню, — вяло махнула рукой Татьяна Сергеевна, — надо посмотреть... Только какое мне дело до его семьи? Разве с двумя детьми разрешается воровать? А с пятью можно идти на грабеж? Дети здесь ни при чем. А если они есть, то я бы, будь моя власть, отобрала их у него. Чтоб не калечил души...

— А вы все-таки поинтересуйтесь, — спокойно сказал Васильев. — Я этих людей знаю, они живут в моем районе, и вы правильно сделали, что пришли ко мне. Но чтобы разговор у нас получился, вы должны понять одну простую вещь. — Он так и сказал — вещь, хотя точнее было бы сказать истину, но у него были свои особые отношения с этим словом. Оно было для него слишком редким, слишком дорогим, чтоб употреблять его каждый раз. — Вам может показаться, что я сердобольный, сентиментальный человек. Вы так, пожалуйста, не думайте. Хотя в этих качествах ничего постыдного нет, но я ими не богат. И все-таки я вам советую поинтересоваться, сколько детей у Сидоркина, как он живет, кем работает его жена, как они ладят? Я это знаю и мог бы вам рассказать, и, может быть, точнее,

чем Сидоркин, но вам непременно нужно узнать это от него самого и во всех деталях. И когда он вам сам про себя все расскажет, вы поймете, что это за человек и о чем с ним можно разговаривать. Вас пугает обилие соучастников в вашем деле, а ведь это ваш козырь.

Костричкина подняла на него удивленные глаза и вроде проснулась. До сих пор она выслушивала Васильева из вежливости, стараясь определить тот момент, когда будет прилично раскланяться.

— Да, это ваш козырь, — улыбнулся Васильев. И ее удивила поразительная перемена, происшедшая с его лицом. Теперь, глядя на него, трудно было представить, что это лицо может иметь какое-то другое выражение, может быть хмурым, даже суровым, несмотря на вежливое обращение. Суровым его делала резкая складка на переносье меж бровями. — Ведь не могут же все люди быть подлецами и проходимцами, — продолжал Васильев. — Милая Татьяна Сергеевна, у вас очень сложное дело. Я не понимаю, почему его дали именно вам. Тут нужен человек опытный и не просто опытный, а опытный именно в таких делах. И вы его не потянете без помощи людей.

— Но каких людей? — взмолилась Татьяна Сергеевна. — Нет среди них людей! Это же преступники, расхитители, воры.

— Обычных людей, — не обращая внимания на ее реплику, сказал Васильев. — А преступниками их может назвать только суд. А пока это подследственные, и вы это знаете не хуже меня, но только теоретически. Вы перестаньте вести допросы, на время, конечно, тем более что пользы они вам не приносят, а лишь больше запутывают, и начните просто разговаривать с людьми. Без протокола... Над вами будут насмехаться, говорить, что приемчики ваши шиты белыми нитками, а вы не обижайтесь, но не как следователь областной прокуратуры, а как молоденькая девушка, и снова ходите, и разговаривайте, и спрашивайте, да губки подкрасьте или что там вы делаете с собой, чтоб понравиться... И это единственное, что я могу вам посоветовать.

Его лицо вновь стало серьезным и даже суровым, и опять невозможно было поверить, что этот человек умеет улыбаться.

— Среди ваших подследственных есть и хорошие и плохие, есть законченные преступники и люди случайные, а то и просто пострадавшие. Отделите зерна от

плевел и тогда разберетесь и со всеми остальными подробностями. Как бы ни были хитроумны комбинации — составляют их люди, и люди могут о них рассказать...

«А все-таки врут легенды, — думала с каким-то даже злорадством Костричкина, возвращаясь к себе на квартиру и с отвращением ощущая, как постепенно проникает под ее небогатую одежку настойчивый осенний дождь. — Нет никакой лавочки! И мудреца нет! И мирового нет! Есть обыкновенный судья с ярко выраженными педагогическими наклонностями, изредка позволяющий себе с вершины своего опыта поучать молодежь. Бр-р! Такое ощущение, что тебя покровительственно потрепали по плечу. Покровительственно и снисходительно, а ты пришла за помощью».

Но все-таки на другой день она первый раз в жизни покрасила губы, и Сидоркин, увидев ее, присвистнул от изумления и машинально потянулся рукой к распахнутому вороту рубахи.

И она ходила день за днем и разговаривала. И уже невольно стала вмешиваться в чужие жизни, стала кому-то советовать, кого-то бранить, и ее слушали, и смущались, и прятали глаза, и она понимала, что имеет право бранить, потому что научилась видеть в них людей, а не просто подследственных.

— На вас смотреть больно, — сказал в очередной беседе Сидоркин, — вы прямо зеленая. Но у вас ничего не выйдет. Если вы обещаете, что не будет конфискации имущества, я вам помогу...

— Я не могу ничего обещать, — сказала она и отвела глаза, потому что почувствовала, что они повлажнели и в них кричит только одна мысль: «Помоги, милый, голубчик, проклятый, помоги!!!»

— Я ведь не о себе... Жена остается, дети...

Она покачала головой, потому что побоялась, что дрогнет и выдаст голос.

— Вы сейчас думаете: «Раньше о детях нужно было заботиться, когда воровал».

Она снова отрицательно покачала головой.

— Я знаю, что вы про меня можете думать. Попался, мол, и то урвать хочет. А я того не крал, что нажил. Как быть? Пришел с войны, вторых портянок не было... Что вы знаете?

— Если все так, то судьи не слепые — разберутся, — сказала она. — А я вам обещать ничего не могу. Да и

не буду! И торговаться с вами не буду. Можете не помогать. Как-нибудь...

— Да никак! — досадливо крикнул Сидоркин и, помолчав минуту, сказал: — Доставайте бумагу. Смотреть на вас не могу — самого себя жалко становится.

Он ей помог. А за две недели до суда его положили в больницу. У него оказалась лейкемия.

Она потом думала: знал он или не знал о болезни? Или действительно пожалел ее и хотел помочь.

Он умер через два месяца, и она пришла на его похороны и стояла в сторонке, потому что еще раньше она приходила к его жене и предлагала свою помощь и та, выслушав ее, не сказала ни одного слова. Ни хорошего, ни плохого. Даже губ не разлепила...

Выходит, мудрец-то был... А вот лавочки не было. Все-таки привирают легенды.

И лавочка была. Но убедилась Костричкина в этом гораздо позже.

Васильев не любил кричать, и не только, как говорится, в запале, но и просто для того, чтоб кого-нибудь окликнуть, позвать. Вот и сейчас он крикнул: «Зоя!» — и недовольно поморщился, словно кричать ему было больно. Он бы и не крикнул, если б не слышал, как в приемной прозвенел телефонный звонок и кто-то поднял трубку. Он бы позвонил.

— Ну как там? — спросил он, когда Зоя вошла.

— Привезли, — ответила Зоя и замерла около стола. Она понимала, что не для того, чтоб задать этот пустой вопрос, он ее вызвал. И если б у Васильева было другое лицо, она бы, пожалуй, прибавила, что и народные заседатели пришли, и защитник Белова примчалась, опрокидывая на ходу стулья, и, когда узнала, что осталось еще целых восемнадцать минут до заседания, чуть часы в форточку не выбросила, что прокурор опять кашляет и все равно курит одну за другой, что народу сегодня будет много почему-то... Но ничего этого она не сказала, а только ждала других вопросов или приказаний. Она не догадалась по его лицу, что сегодня он опять, проснувшись, долго сидел на кровати, заставляя себя встать. Этого он ей никогда не рассказывал, и она не знала, что в такие дни для него самое главное встать, сделать первый шаг, а потом второй, который не легче первого, третий... Но все же самый главный — первый.

— А потерпевший? — рассеянно спросил Васильев.

— Кажется, здесь, — ответила Зоя, соображая, зачем же он ее вызвал.

— Кажется? — переспросил, словно очнувшись, Васильев.

— Здесь.

— Свидетели? — спросил Васильев, и Зоя окончательно убедилась, что вызвал он ее не за этим.

— Пришли.

— Хорошо. Теперь, пожалуйста, вот что... Скажи девочкам в канцелярии, чтоб убрали стол в дальней комнате. А Гале (он имел в виду начальника канцелярии) скажи, чтоб подготовила все дела по подросткам за последние два года. Сама ты уже не успеешь. Будет проверка из прокуратуры. Придет Татьяна Сергеевна Костричкина, и вы ее устроите в дальней комнате и дадите ей дела. И предупреди Галю, чтоб она была готова, если Костричкиной понадобится что-нибудь еще... Первый зал подготовлен?

— Да, там уже народ.

— Сегодня твой муж работает?

— Да.

— Как у него настроение?

— А что нам его настроение? — уверенно сказала Зоя. — Попрошу — сделает.

— Как в прошлый раз? — улыбнулся Васильев.

— За прошлый раз он уже получил, — сказала Зоя.

— Ну тогда зови заседателей.

Этих народных заседателей Васильев особо отметил еще на собрании совета заседателей. Они сидели в разных углах и отношения друг к другу не имели, но именно их он запомнил. Низенький и уже раздавшийся Игнатов, который вошел теперь в кабинет с сигаретой, и не знал, как с ней быть, и стряхивал пепел в ладонь, и смущенно озираясь, ища, куда бы пристроить окурок, запомнился Васильеву румянными не по возрасту (ему было лет сорок) щеками и особенной, прямо ученической прилежностью, с которой он записывал, очевидно слово в слово, все, что рассказывал Васильев «новобранцам». Теперь он шмыгнул за дверь и через мгновение вернулся оттуда без сигареты и только тогда подошел к Васильеву и, протянув руку, сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — улыбнулся своим воспоминани-

ям Васильев, — присаживайтесь, хотя рассиживаться некогда. Через семь минут начинаем.

Второй заседатель, Стельмахович, избравший себе позицию около двери, будто спохватился, что нужно поздороваться, и медленно, нескладно переставляя свои длинные ноги, приблизился к столу и протянул холодную вялую руку.

— Здравствуйте, — сказал Васильев и улыбнулся в другой раз другим воспоминаниям. На том же заседании совета он выделил Стельмаховича благодаря его совершенно отсутствующему виду.

Если Игнатов горел рвением и по всему было видно, что это занятие ему чрезвычайно нравится и он ежесекундно ощущает громадную ответственность, возложенную на него, то Стельмахович еще тогда, на заседании, будто все время произносил про себя: «Да, мне поручили, но сам я не напрашивался... Впрочем, свой долг я выполняю, но сам я не напрашивался». И позавчера, когда Васильев знакомил их с этим делом, у Стельмаховича было такое же отсутствующее лицо, но вопросы он задавал толковые.

Васильев встречал таких людей. Он знал, что подобное отношение к судебному заседанию возникает из-за болезненной застенчивости. Поначалу он нервничал, теперь же знал, что застенчивость и неловкость пройдут сами собой, забудутся, когда будет решаться судьба другого человека.

— Значит, свои права и обязанности знаете? — спросил Васильев.

— Знаем, — с готовностью и энергично ответил за двоих Игнатов. Стельмахович сдержанно кивнул.

— Дело не забыли? Может быть, возникли вопросы? Не возникли... Ладно, думаю, что еще возникнут, хотя дело, в общем, простое... — сказал он и осекся, вспомнив о занозе, засевшей в его памяти. — Ясно все, кроме личности подсудимого. Вот прояснить эту личность и будет главным. Странная личность. Характеристика с места работы ничего не говорит. Одним словом, «план выполняет». С места жительства — ничего. Если вам что-то будет неясно, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Не бойтесь подробностей — мы никуда не торопимся. — Он взглянул на часы, потом на серую папку с делом, потом на заседателей и сказал: «Пора».

«Никогда не представлял, что это будет настолько неприятно, — думал Стельмахович, шагая за своим бо-

лее оптимистично настроенным румяным коллегой Игнатовым. — Может, все дело в воспоминаниях. Но ведь все прошло... Я не видел ее уже три года. А ведь вспоминал... Да, вспоминал. По случаю. И вот сейчас такой случай. Оттого так и неприятно... Интересно, мы будем заседать в том же зале или в другом? Было бы смешно, если в том же... Только теперь я буду сидеть за длинным столом и буду иметь право задавать вопросы. Любые, какие захочу, вернее, какие сочту нужными. И все будут отвечать».

Вся процессия во главе с Васильевым остановилась в коридоре, и судья о чем-то заговорил с высоким и худым прокурором в форменном кителе. Прокурор заразительно смеялся. Васильев был серьезен и улыбался в ответ прокурору только из вежливости. Игнатов смеялся громче всех.

«Все-таки он, наверное, вспомнил, что разводил нас, — решил про себя Стельмахович, поймав пристальный взгляд судьи. — Еще бы не вспомнить. Когда мы с Верой шли в суд, то были уверены, что вся эта канитель займет не больше получаса. Специально договорились, что обойдемся без подробностей, используем традиционную формулировку: «Не сошлись характерами».

Зачем ему понадобилось задавать и задавать вопросы? Васильев словно хотел заставить их снова прожить их совместную жизнь. И все это было проделано с такой вежливостью и участием, что поневоле приходилось отвечать.

И Вера не выдержала. Слезы долго копились под набухшими веками и потом хлынули... Нет ничего сокрушительнее жалости к самому себе.

Зачем он это сделал? Чтоб растоптать меня, совсем незнакомого ему человека? Чтоб заслужить признательность Веры, которую он и в глаза больше не увидит? Потом суд удалился на совещание, а когда вернулся, то на лице у председателя уже не было ни заинтересованности, ни задушевности. Сухим голосом он зачитал: «Суд, рассмотрев, удовлетворяет...» Зачем он это сделал?»

...Суханов не оглядывался, когда два милиционера провели его (один впереди, другой сзади) в переполненный зал. Он смотрел прямо в широкий седой затылок



первого милиционера и слышал астматическое, с легким присвистом дыхание второго, шедшего сзади. Он остановился у широкой лоснящейся лавки. Почувствовав на плече тяжелую руку и услышав слово «садись», сел и удивился, до чего лавочка скользкая, и ему невольно захотелось поерзать и устроиться попрочнее, но попрочнее не получалось, и не было такого места на лавочке, на котором можно было бы сидеть прочно и неподвижно.

«Ничего, ничего, — успокаивал себя Суханов, но мысли были неотчетливые и торопливые, как бормотание спросонок, — ничего, судья добрый, главное, что судья добрый, ведь должен же он понять, что я не грабитель, что грабить я не собирался. Я работаю, я не грабитель — он это должен понять. А эта баба дура, как все бабы. Защитница... — горько усмехнулся про себя Суханов. — Правду ей, правду... Какую правду... Она, верно, ничего в жизни не видела, кроме своих институтов — вот это правда. А прокурор злой, но с судьей он не справится. Тот мужик крепкий. Нет, главное, что судья добрый... А ведь я сирота... Да! Я сирота! Что же мне теперь, помирать оттого, что сирота? Мать уехала... Какая разница, уехала или померла? Нет ее. Нет, и все! Никого у меня нет! Ну выпил... На трудовые... Имею право, всякий может выпить, а главное, не закусил, немного выпил и отключился. Сколько раз бывало... Ничего утром не помню. Когда на завод за мной пришли, чуть не умер от страха... А вообще, кого я хоть пальцем тронул? Кто скажет? Наоборот, всегда заступался... — Суханов уже не бормотал про себя, он кричал про себя, и голос его звенел, и дрожал, и доставал судью до самого сердца. — Да, виноват, виноват, судите, но не грабил, никогда в жизни не грабил!» — кричал он про себя и сам верил, что это правда.

Он сидел согнувшись, и хотя прошло не больше двух минут, от напряженной окостенелой позы у него заболели плечи и шея.

Он слышал за спиной тихие голоса. Он различал знакомые голоса ребят и незнакомые, любопытные. Он решил вообще не оглядываться в зал, ни разу. И тогда всего этого переполненного зала не будет. Не будет этих любопытных глаз, приоткрытых ртов и тихого шепота.

— Прошу встать, суд идет.

Суханов вздрогнул и опустил голову еще ниже. Ему

нестерпимо захотелось взглянуть на судью, на доброго судью, от которого теперь зависела его жизнь, но страх, еще более острый, пригнул его голову — а вдруг он не добрый, вдруг они врал или ошибались? Он опять почувствовал на плече тяжелую руку и услышал тихое: «Встань». Фразу «Встать, суд идет!», произнесенную маленькой женщиной с кипой бумаг под мышкой, он слышал, но не отнес ее к себе, как не относил ничего из происходящего в зале, кроме собственных, таких убедительных, таких надежных мыслей...

Он встал и, медленно подняв голову, посмотрел на судью.

«Да какой же он добрый? — панически думал Суханов с настойчивостью вслушиваясь в слова, произносимые судьей ровным, ничего не выражающим голосом, и все равно не понимая их смысла, — да он никакой!»

Что-то необычное, необъяснимое в поведении публики насторожило Васильева. В зале сидела в основном молодежь, и лишь в первых рядах он увидел два-три знакомых лица — завсегдатаи, конечно, занимали лучшие места.

Автоматически произнося известные слова, Васильев пытался определить, чем же его поразила сегодняшняя публика, и, встретившись глазами с несколькими молодыми ребятами из задних рядов, он понял — весь зал заинтересован в происходящем и эта заинтересованность наэлектризовала, казалось, даже воздух. Словно это были не зрители, а участники. Словно и их судьба должна была сегодня решиться.

Каждый раз в начале процесса Васильев бывал тороплив. Он знал за собой этот недостаток и специально старался говорить медленнее, торжественнее, что ли. Но всякий раз мысли убегали, он задумывался над теми конкретными задачами, которые еще предстояло решить, и «обязательная программа», как он ее про себя называл, то есть объявление состава суда, чтение обвинительного заключения, актов экспертизы и так далее, сковывала его. Сейчас его больше всего интересовала позиция подсудимого...

— Граждане судьи, — сказал Суханов и облизал спекшиеся губы и только тут во второй раз коротко взглянул на судью — чего, мол, тут рассказывать? Он снова облизал спекшиеся губы. — Все в деле написано

точно... Ударял я его или нет — не знаю... Взял шесть рублей или больше — не знаю... А может, и больше... — Он взглянул на потерпевшего. Гладили сидел, уставившись в пол. Почувствовав, что эти слова обращены к нему, он хотел было посмотреть на Суханова и уже было повернулся к нему, но в последний момент, не дойдя до него взглядом, снова склонил голову.

«Он боится его, — подумал Васильев. — Почему? Может, стесняется всей процедуры? Глупости. Именно боится».

Васильев не перебивал подсудимого.

Суханов продолжал:

— Я единственно что могу рассказать, — печально, с горькой, кривой ухмылкой говорил он, — это то, что было в начале вечера, то есть до... — он замялся, подыскивая слова, и взгляд его тревожно метнулся с защитника на прокурора, потом на судью, — до этого случая, даже не до случая, а до последней бутылки. Могу рассказать, что было утром... А вообще, там все написано, наверное, правильно...

— Садитесь, — сказал Васильев, и прокурор посмотрел на него недоуменно. Его поразила торопливость Васильева.

— Потерпевший, встаньте, к вам есть вопрос. Почему вы заявили в милицию только на другой день?

Гладили встал и долго молчал. В сторону Суханова он, как Васильев и ожидал, даже не посмотрел. Потом нехотя и тихим от робости голосом сказал:

— Я не заявлял...

На другой день после случившегося Володя Гладили явился в училище раньше всех. Он слонялся по коридорам и, останавливая поодиночке появляющихся знакомых ребят, отводил их в сторонку и с глубокой безнадёжностью в голосе задавал один и тот же вопрос:

— У тебя деньги есть?

— Сколько, — спрашивала очередная жертва.

— Шесть рублей... — произносил Володя, и голос его всякий раз замирал, ужаснувшись громадности суммы. — До стипендии, — торопливо добавлял он, но положения это не спасало. Предполагаемый кредитор смотрел на него иронически и дружески похлопывал по плечу:

— Я думал, тебе вправду нужно, а ты просто шу-

тишь. Копеек пятьдесят — это серьезный мужской разговор.

Так оно все и продолжалось до тех пор, пока совершенно отчаявшийся Гладилин не обратился со своей просьбой к Семенову. Он забыл, что Семенов был человеком принципиальным и въедливым, он совершенно забыл, что именно Алешка Семенов дал ему эти деньги.

— Сколько тебе нужно? — будто бы безразлично переспросил Алешка.

— Шесть.

— Мда... шесть, — сказал Алешка и поскреб подбородок. — А зачем? — неожиданно спросил он и въелся в Гладилина своими пронзительными круглыми глазами.

Володька понял, что попался, хотел было свести все на шутку, но было поздно.

— Что случилось, Гладилин? — спросил Алешка уже тоном старосты группы.

— Я потерял деньги, — придушенно ответил Гладилин и отвернулся. Его даже слегка замутило от предчувствий.

— Так... — протянул Алешка. — А где они у тебя лежали? — спросил он, хотя прекрасно знал, что деньги у Гладилина лежали в записной книжке в специальном карманчике вроде кошелька.

— В записной книжке, — пролепетал Володя, даже не чувствуя, что попадаетея в другой раз.

— А хоть книжка-то цела?

— Книжка-то цела...

— А как же они могли потеряться из книжки? — восхищаясь собственной проницательностью, прошептал староста.

Гладилин совсем сник. Староста же, напротив, ухватив, как говорится, ниточку, с таким жаром кинулся распутывать весь клубок, что Володя, не выдержав натиска, сдался. Оказалось, что староста шел по ложному следу. Он-то думал, что Гладилин растратил общественные деньги, собранные на подарок преподавательнице ко дню рождения, а тут оказалось, что деньги у него отобрали... Кто в это поверит, что в наше время могут у здорового парня средь бела дня...

— Но дело-то было вечером, — взмолился Гладилин.

— Неважно! — отрезал староста. — Ты ври-ври, да не завирайся. — Он уже кричал во весь голос, вокруг

них собрались ребята, и чем больше народу собиралось, тем громче он выступал, работая уже в основном на аудиторию.

— Постой, постой, — раздвинув толпу плечом, подошел незнакомый Гладилину второкурсник. — Чего разоряешься? — сказал он старосте и потом, присмотревшись к Гладилину, спросил: — Это около орсовского магазина, да?

Гладилин кивнул.

— А на тебе была шапка с козырьком?

— Да...

— Их было двое, а один в расстегнутом пальто?

— Да, — ответил Гладилин, и в голосе его прозвучал испуг.

Староста собственноручно отвел Гладилина в милицию, и если б не Коля Никифоров, то Суханова скорее всего не нашли бы.

— И все-таки почему вы не обратились в милицию в тот же вечер?

Гладилин молчал. Вот он осторожно покосился в сторону Суханова (Васильев заметил этот взгляд) и, пожав плечами, сказал:

— Я ни разу не обращался...

— Спасибо, можете сесть, — сказал Васильев и, склонившись к Стельмаховичу, тихо спросил: — У вас есть вопросы?

— Нет, — сказал Стельмахович.

— Покурить не хочется? — спросил Васильев у второго заседателя и, получив отрицательный ответ, тут же, без паузы, обратился к Суханову: — Пожалуйста, подсудимый, встаньте и расскажите нам подробнее, что произошло с вами в тот вечер, до того, как вы встретили ранее неизвестного вам Гладилина.

— ...и купили две бутылки, — рассказывал Суханов, — потом Миша ушел домой, а мы остались с Румянцевым, у нас еще было полбутылки вина. Потом, я помню, стали собираться в магазин, я еще шарф, то есть кашне, не мог найти, потом нашел, и мы двинули... потом уже ничего не помню. Можете спросить у Румянцева, он крепче на выпивку и, наверное, помнит все

в подробностях. — Он повернулся к двери и, не меняя интонации, тем же монотонным голосом произнес: — Пусть он расскажет все как было, ничего, я не обижусь, ничего...

Как ни старался Суханов говорить ровно, в голосе мелькнула нежелательная интонация: Васильев не услышал в нем обиды, в голосе Суханова прозвучала скрытая издевка, причем скрытая от посторонних, замаскированная смирением, но с таким расчетом, чтобы кто-то знающий понял. Но ведь Румянцева не было в зале. На кого же эта издевка была рассчитана?

— А по какому поводу вы пили? — спросил Васильев.

— У нас на заводе была получка... потом премию дали.

— Премию? — переспросил Васильев.

— Да, премию, — оскорбленным голосом ответил Суханов и обиженно поджал губы. Прокурор еще раз удивленно посмотрел на Васильева.

— Вы часто употребляете спиртные напитки? — спросил прокурор.

Суханов несколько замешкался. Он даже от волнения как-то по-особенному дернул головой, так, словно он только что подстригся в парикмахерской и теперь колючие волосы попали ему за воротник и мешают.

— Даже не знаю, как сказать... — сказал Суханов и снова по-куриному повел вперед головой.

— Скажите как есть.

— Ну три-четыре раза в месяц и на праздники, конечно, как все.

И снова кольнула невидимая заноза, да так пронзительно, так близко, что казалось — ухвати ее зубами и тащи... Васильев от нетерпения даже забарабанил пальцами по столу. Где же он видел этот жест, эту манеру дергать головой? Может, он встречался раньше с Сухановым? Нет, тогда бы по этому жесту он запомнил его...

«Чего он взъелся на меня, — думал Суханов, — ничего себе добрый. Вот забарабанил... Так бы и съел... Да не съешь! Не укусишь, а оступиться может всякий. Не знает, что спросить».

— Садитесь, подсудимый, — сказал Васильев и, по-

совещавшись с заседателями, объявил перерыв. Заседание шло уже два часа.

Васильев знал, что прокурор сейчас подойдет к нему и начнет задавать вопросы, он знал, что толстенный заседатель, посасывая сигарету, станет азартно обсуждать происходящее, а ему нужно было побыть одному, сосредоточиться. И он пошел в дальнюю комнату канцелярии, забыв, что сам сегодня утром распорядился поместить туда Костричкину.

— Ну просто люблюсь делами, — ласково улыбнулась Костричкина. — Ну что ни дело — картинка...

— Будет вам, — поморщился Васильев, — дела как дела...

— Нет, нет, смотрите, я не первого вас проверяю... Смотрите: возьмем любое. Вот Горелов Григорий. Все характеристики на месте, все подшито, по порядку, характеристики хорошие, видно, что парень взялся за ум, проверяете вы его регулярно...

Дальше Васильев не слушал. Конечно, это Горелов, огромный, рукастый парень, красивый, чернобровый... Но не он дергал головой, как Суханов. А как же звали второго? Да, еще у Горелова есть кличка — Гриня, кажется; но как же звали второго, который дергал. А-а-а... Морозов, конечно, Морозов!

Он молча забрал из рук Костричкиной дело и стал торопливо, нервно перелистывать.

Ну вот, наконец... Вот что ему не давало покоя! Заноза выскочила. Его даже пот прошиб от облегчения. Он полез в карман за носовым платком. Во второе дело ему даже заглядывать не нужно было, но все же заглянул.

Он нашел народных заседателей в коридоре и коротко рассказал о своих сомнениях. Игнатов, польщенный доверием председателя, сразу же с ним согласился. Стельмахович пожал плечами, мол, делайте, как считаете нужным.

Зоя столкнулась с Петром Ивановичем в дверях канцелярии.

— Твой работает? — спросил Васильев, и Зоя удивилась тому, что он задал этот вопрос дважды за сегодня.

— Работает, — ответила она и с тревогой заглянула ему в глаза.

— Хорошо! Прекрасно! Запиши две фамилии, адреса найдешь в делах, там же посмотришь, где они работают или учатся, выпишешь две повестки и немедленно, понимаешь, немедленно попроси, потребуй, если нужно свяжись с начальством, но чтобы эти два человека здесь были, хотя стой, — он взглянул на часы, оставалось еще семь минут до конца перерыва, — где сейчас твой?

— Во дворе, у машины.

— Тащи его сюда, я сам поговорю с ним. Я буду у себя. Пожалуйста. Ну иди, пожалуйста...

Через минуту, как всегда смущаясь, как всегда несколько боком, вошел Ваня, Зоин муж, работавший шофером в милиции. Был он в шинели, несколько вытертой со спины. Он-то и привозил и подсудимых, и конвой, и судки с обедом, когда заседание затягивалось, он-то и был палочкой-выручалочкой, когда Васильеву вдруг спешно требовался какой-то неявившийся или не вызванный им человек. Делал это Ваня без промаха и почти безотказно. Только недавно заупрямился, да и не заупрямился, а так просто и заявил, что в том районе, куда его посылают, его «тачка» не проползет, что там он обязательно сядет, а вытащить будет некому, да и подсудимого отвозить будет некому, не говоря о конвое. Васильев ему поверил, а Зоя, очевидно, нет. Этой взбучкой она сегодня утром и хвасталась.

Ваня проникся важностью возложенной на него задачи на удивление легко. То ли в голосе Васильева он что-то этакое учуял, то ли свежи были воспоминания о недавней домашней взбучке.

Проводив Ваню, Васильев облегченно вздохнул.

Наконец-то он сложил в одну кучу, и не только сложил, а соединил, спаял безупречной жесткой логикой все догадки и сомнения, мучившие его сегодня с утра. А сделать это было нелегко, потому что сомнения тянулись издавека, из прошлого года.

Итак, Суханов. Оказывается, эта фамилия встречалась Васильеву год назад, но промелькнула так тихо и незаметно, что он ее и не запомнил, и не придал ей значения.

Итак, Суханов. Его первое появление.

Шло обычное разбирательство, слушалось обычное дело о хулиганстве.

Молодой парнишка (Горелов Григорий Кузьмич,



1959 года рождения, учащийся ПТУ, проживающий по улице...) в пьяном виде пристал в городском сквере к парню и девушке. Вернее, пристаивал он к девушке, которую знал раньше, а парень, с которым она теперь встречалась, был тут ни при чем. Вернее, он был бы ни при чем, если б сразу ушел. Но он не ушел, он остался и встал между Гриней (под такой кличкой был известен Горелов) и девушкой, несмотря на то, что Гриня был на целую голову выше. Он, этот паренек, не знал, какие слова положено говорить в таких ситуациях, ведь она была раньше знакома с этим парнем, он понятия не имел, как должен вести себя кавалер по законам уличного рыцарства, он просто молча встал перед Гриней, и когда тот вялой, пьяной рукой попытался его оттолкнуть, как досадную, и нелепую, и смешную помеху, и тогда паренек не ушел.

— Да проваливай ты, Ромео... — сказал Гриня и выматерился. Сказал он это скорее добродушно и снисходительно, чем злобно, ведь Горелов не сомневался, что парень отступит.

Но парень и тут не ушел. Он даже не шелохнулся. Гриня начал сердиться на его бестолковость:

— Ну я же сказал, проваливай. Эту ночь она мне должна, а ты потом... завтра...

— Сволочь, — тихо сказала девушка, — пьяная скотина!

Тут Гриня и вовсе забыл о паренке и рванулся к девушке, но что-то ему помешало. Он пригляделся, оказывается, опять стоит перед ним этот Ромео. Гриня сделал шаг назад, опустил руки и вполне миролюбиво сказал паренку:

— Поди-ка сюда, что скажу...

Девушка вцепилась в рукав парня и причитала:

— Не ходи, не слушай, давай уйдем, не слушай, не ходи!

— Да что я тебя, съем? — ухмыльнулся Гриня.

И паренек шагнул к нему раз, другой, а на третьем шаге его встретил удар в челюсть. Он и не почувствовал этого удара. Когда паренек открыл глаза, его поразило то, что он лежит. Потом он услышал звуки ударов и слова:

— Кто сволочь? Говори, я сволочь? Я скотина? Пойдем... лучше пойдем... Ах ты, шлюха, с ним можешь, а со мной нет... Я тебе не нравлюсь, да?

Потом был ослепительный свет, звук мотора, чьи-то голоса, потом над ним склонилась его девушка и помогла встать и дойти до милицейской машины.

Еще до судебного разбирательства, еще только знакомясь с делом, Васильев удивился: до чего же не сходится, не совпадает образ Горелова, отчетливо проступающий из материалов дела, с его поступком. Несходство было редкое. Были характеристики из ПТУ, от дирекции, из комсомольской организации, были заявления от ребят-сокурсников — они просили отпустить Гришу на поруки. Был и еще один интересный документ. Протокол допроса свидетеля. Читая этот протокол, Васильев так точно представил себе всю сцену допроса, будто присутствовал при этом.

Нина, Гришина девушка, пришла сама, ее никто не вызывал, и плакала в кабинете у следователя.

— Вы знаете, что он бил женщину? — спросил следователь.

— Это не он, — через всхлипы, с трудом произнесла его девушка.

— Вы знаете, что он в крайне циничной форме принуждал эту женщину вступить с ним в половую связь?

Девушка вздрогнула, сжалась, но выдержала и этот вопрос, только слезы ее просохли от боли.

— И за такого человека вы заступаетесь. И этого человека вы любите. Ведь он может позволить себе такое же и с вами.

— Вы не понимаете, — тихо сказала Нина, — вы не понимаете... Я его знаю два года, это не он.

— Вот уж действительно не понимаю, — пожал плечами следователь. — Выходит, его оклеветали. Не его поймали буквально за руку? И бил не он, и оскорблял не он?

— Он... — горько вздохнула девушка, — но и не он. Гриня, — уличная кличка прозвучала удивительно мягко, как домашнее, ласковое прозвище, — не мог этого сделать. Его заставили, споили, все что угодно, но это не он.

И тогда следователь сказал:

— Он.

Родителей Горелова Васильев выделил сразу из всего зала суда, так тесно и одинаково они сидели, и вместе встали, хотя он спросил одного отца. Отец

сначала бережно усадил жену на место, а потом заговорил:

— Нам казалось, что он хороший, настоящий парень... — он запнулся, — не казалось, мы это знали. Мы и сейчас это знаем... — Отец закашлялся и долго не мог говорить. — Да, он у нас один. Но если он другой, если он нас все время обманывал, если он такой, каким я его вижу здесь, то... Сердцу не прикажешь... Он всегда может рассчитывать и на наш дом, и на нашу жалость и помощь, но уважения уже не будет никогда. Но я думаю, что он не такой. Мне хочется так думать. Здесь какая-то ошибка. Я не понимаю ее, но это ошибка. Судите его по всей строгости. Но если суд найдет возможным не лишать его свободы, знайте, что мы не считаем его человеком потерянным... Мы сделаем все...

И вот тут Васильев по-настоящему удивился явному несоответствию между характером Горелова, его воспитанием, прежним поведением и его поступком.

Причины этого несоответствия, как и Гришин отец, Васильев не видел. Причиной могло послужить только сильное опьянение.

Суд нашел возможным не лишать Горелова свободы и осудил его условно к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в три года.

А возвращался в тот злополучный вечер Григорий Горелов с вечеринки, устроенной по случаю дня рождения его хорошего знакомого (это тоже было в материях следствия), где были в основном его сверстники и ребята чуть постарше, где веселились допоздна и много пили. День рождения был у некоего Суханова.

Но разглядеть этого человека за всеми проблемами дела было невозможно.

Суханов не был даже вызван как свидетель.

Ведь, в конце концов, не виноват же человек, что у него случился день рождения. А то, что Горелов оказался несовершеннолетним и наливать ему в общем-то не следовало бы, так и в этом он не виноват. Поди дай этому парню на вид меньше двадцати, а то и двадцати двух. Не станешь же стоять в дверях и спрашивать паспорт.

И, может быть, забыл бы Васильев эту фамилию, если б она не всплыла снова через несколько дней.

Морозов стоял перед судом так, словно не понимал, что происходит. Он даже добродушно улыбался, глядя то на Васильева, то на народных заседателей.

На вопросы суда Морозов отвечал прямодушно и даже с некоторым удивлением, чего, мол, тут непонятного. Было дело, напился, пристал к женщине, стукнул разок другой, чтоб не трепыхалась, сумочку отобрал, да, было дело. Но ведь выбросил ее и ничего не взял. Раз поймали, значит, судите, а не переливайте из пустого в порожнее, а то спрашивают, спрашивают, как маленькие....

Говорок у него был протяжный, с ленцой, и глаз добродушно-озороватый, и улыбка обаятельная. Васильев невольно поддался этому обаянию и вел заседание так, словно это был и не суд, а просто разговор по душам.

— И много выпили-то? — спросил Васильев.

— Да я не считал... Вообще-то прилично... Наверное, всех перепил. Там один взялся со мной тягаться, так его потом полвечера искали... Растворился во мраке...

— Зачем же так много пили?

— А чего же не пить, когда наливают?

— И кто же вам наливал?

— А сам, там было самообслуживание, как в столовой... — ухмыльнулся Морозов такой непонятливости. — Я в том смысле сказал, что там много было... «керосину», да еще каждый с собой принес по «гранате».

— Я, конечно, понимаю ваш жаргон, но все-таки изъясняйтесь как следует, — нахмурился Васильев, но Морозов не поверил в его сердитость и улыбнулся в ответ. — И вообще посмотрите на себя, стоите перед судом, а что за вид, весь какой-то растерзанный, разболтанный, рубашка расстегнута. Вот из-за разболтанности и случилась с вами эта история.

На Морозова слова Васильева не произвели ровным счетом никакого впечатления, он еще шире улыбнулся и сказал:

— А что, если застегнусь, вы меньше дадите?

В зале засмеялись.

Надежда Трофимовна Березникова возвращалась домой после вечерней смены. Улицы уже были пустынные. Влюбленные парочки, вдохновленные ранней весной, жались поближе к скверам. Фонари уже горели через

один, и Надежда Трофимовна пожалела, что запретила мужу встречать ее с вечерней смены. Впрочем, пожалела она из-за того, что сейчас можно было бы не бежать сломя голову, а спокойно прогуляться и подышать свежим, напоенным ароматом молодой, особенно пахнущей листвы воздухом.

— Девушка... — раздался сзади протяжный пьяный голос.

«Этого еще не хватало», — с досадой подумала она.

— Девушка, да постой... куда ты так бежишь? Я же тебя не догоню...

Надежда Трофимовна, не решаясь оглянуться, прибавила шаг.

— Да постой же ты... — раздалось над самым ухом, и молодой парень с застывшей на лице пьяной улыбкой схватил ее за руку. — Бежит, бежит, а чего бежать? Что я тебя, съем, что ли?..

Надежда Трофимовна, изо всех сил вырывая руку, стала просить парня, стараясь говорить спокойно и вразумительно, хотя это ей удавалось с трудом, голос прерывался от волнения, а в горле что-то мешало словам.

— Сынок, сынок, да ты что, какая же я тебе девушка, я же тебе в матери гожусь, пусти, слышишь, сынок, пусти, не пугай ты меня.

Парень отрицательно помотал головой, еще шире улыбнулся и попытался перехватить вторую руку.

Надежда Трофимовна отчаянно размахнулась и стала сумочкой колотить парня по голове, по плечам. «Только бы вырваться, только бы вырваться, а там не догонит — пьяный».

Парень первые удары принял изумленно и даже не перестал улыбаться, но руки не выпустил. Потом улыбка медленно сползла с его лица.

— Ты что дерешься? — вдруг заорал он. — Ты чего? Сейчас как врежу!

Он поймал сумочку и рванул так, что отлетела ручка, потом, ничего не видя от злости, размахнулся и ударил и, не оглядываясь, пошел прочь.

Пройдя шагов десять, он поднял руку к лицу и с удивлением уставился на сумочку, постоял с минуту в замешательстве, потом размахнулся и кинул сумочку через какую-то ограду.

Через две-три минуты Морозова догнал милицкий автомобиль.

«А может быть, это бравада? — думал Васильев и снова перелистывал тощенькое дело Морозова, отыскивая там подтверждение своему сложившемуся мнению об этом парне. Подтверждения не было. Наоборот, в характеристике с завода, где он работал учеником фрезеровщика, не стояло даже трафаретного «дисциплинирован, с производственными заданиями справляется». Там было написано, что Морозов несобран, станок осваивает с трудом, часто опаздывает на работу. И только в конце добавлено, и то как бы через силу: «В серьезных правонарушениях не замечен. На работу в нетрезвом виде не являлся».

«Да, из такой характеристики шубу не сошьешь, — невесело подумал Васильев. — Видать, очень серьезный человек ее писал. Странно... Вот характеристика... Слово-то, в общем, специальное, но редко бывает, чтоб из нее действительно был виден человек, о котором пишут. Или видны бюрократические традиции учреждения, давшего эту характеристику, или же виден автор, если он осмелился отступить от традиций, но никак не герой этого внежанрового произведения».

Законным представителем интересов подсудимого, так как он еще не достиг совершеннолетия (до восемнадцати ему осталось два месяца), была его мать, маленькая бесцветная женщина. Все заседание она вертела в стороны своей птичьей головкой, глядя в рот каждому, кто говорил, и в глазах ее каждый раз вспыхивала надежда, словно вот сейчас скажут заветные слова, что сын свободен и можно будет пойти домой. И каждый раз надежда так же быстро гасла.

Когда пришла ее очередь говорить, она шустро подбежала к трибуне перед судейским столом, но потом повернулась к потерпевшей Березниковой и заговорила быстрым говорком:

— Вы уж простите его, пожалуйста. Он не попросит прощения, он и у меня ни разу в жизни не просил, и у отца-покойника, тот хоть ремнем, хоть чем, а этот — ни в какую, только улыбается... Вы простите его, ради бога. Граждане судьи, — повернулась она наконец к суду. — Товарищи дорогие и вы, девушки, тоже, что я могу сказать, конечно, мне его, дурачка, жалко. Зачем он это сделал? Ну что ты стоишь, как обормот?..

Морозов по-куриному дернул головой,

— Ну что я теперь без тебя буду делать? Забыл про мать? Про сестренку, про братишек забыл? Они вон спрашивают, где Саня их любимый, а Саня водку пьет и на скамью садится. Что мне, так им и сказать? Что молчишь? Он еще улыбается. Товарищи дорогие, ведь он глупый, но добрый. Это все водка проклятая. Так, по-трезвому, он никого не ударит. Он всю жизнь-то со своими младшими братишками и сестренками провозился. Их у него четверо: двое братьев и две сестренки. Я от него слова грубого не слышала... Не то что по-матерному, а даже так, дураком никого не обозвал... — Она всхлипнула, пошуршала по карманам курточки, ища платок, но не нашла, тогда Морозов, искоса наблюдавший за матерью, вынул из кармана аккуратно свернутый платок и, толкнув в бок конвойного милиционера, буркнул:

— Вот, передайте... пусть вытрется, — и снова по-куриному нырнул вперед головой.

— Не положено, — сочувственно сказал милиционер.

— Конечно, судите, — всхлипывая, сказала мать. — Но только у меня на нем вот уже год дом держится. Как отец наш погиб. Ведь за ним старшему-то двенадцать. Ведь он, Сашка-то, только полгода, как стал из дому по вечерам гулять ходить, и то не допоздна и когда можно, когда я с делами управлюсь, а так все невылазно сидел... От меня да от малышей ни на шаг. Конечно, судите, но лучше отпустите...

Суд признал Морозова Александра Ивановича виновным в злостном хулиганстве и назначил ему наказание два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

И снова Суханов ускользнул. Правда, не совсем. Васильев заметил тогда, что напился Морозов на дне рождения у Суханова в тот же злополучный вечер. Заметил и удивился. Не часто так случается, что после одного праздника совершаются два практически одинаковых преступления, и притом не в сговоре.

Суханов и сегодня хотел бы уйти, потому он так и настаивает на том, что ничего не помнит... Пьянство, мол, виновато, а я... Я как все. Он ведь даже так и сказал, что пьет, как все. Мол, что меня одного судить? Судите всех пьющих.

И сегодня он почти было ускользнул, если б ни этот жест, который все и решил.

Когда Васильев увидел, как Суханов ныряет вперед по-куриному головой, его память сработала. Трудно было бы предположить, что Суханов научился этому жесту у Морозова. Значит, этому жесту Морозов научился у Суханова, стало быть, он не случайно попал к нему на день рождения, стало быть, они настолько близки, что Морозов подражает ему, пусть даже бессознательно. Все эти характерные жесты так же заразительны, как и словечки. Добрый и мягкий, как сырая глина, Сашка Морозов так внезапно изменился, попав под влияние Суханова. Значит, тут разгадка и необъяснимого поведения Грини — Горелова. А впрочем, все, может быть, и не так...

— Встать! Суд идет!

И тут, неловко шагнув на маленькую приступочку, ведущую к судейским креслам, Васильев качнулся и обрушился всем своим грузным телом на больную ногу. Если б в руке у него была палка, этого не случилось бы, он перенес бы всю тяжесть тела на нее, но палку в зал суда он не брал и теперь стоял, парализованный болью, с побелевшими глазами и невольно рукой нашаривал край стола. Наконец поймал и боком, протиснувшись мимо заседательского кресла, повалился в свое, председательское.

Зоя все видела и непроизвольно дернулась ему навстречу, но остановилась, наткнувшись на его жесткий взгляд.

Только Зоя и догадалась, что произошло. Чему-чему, а этому Васильев научился. Он не научился бегать и плясать «Барыню», он не научился привычке к боли, но скрывать ее Васильев научился в совершенстве. Уж очень большой у него был стаж в этом деле... с 1941 года...

Вот так иногда бывает — мальчишеская любовь к оружию потом переросла в профессию. С оружием он имел дело сызмальства, и самое памятное событие детства — это когда отец впервые дал ружье и два патрона и сказал: «Иди!» — и он пошел, с замирающим от счастья и гордости сердцем. И тот уральский лес,



что исходили они с отцом вдоль и поперек, знакомый до кустика, вдруг приобрел новое, таинственное значение. Знакомые тропинки, по бокам которых они с отцом оставили сторожки на мелкую дичь, вдруг стали извилистее, овраги глубже и сумрачнее, все живое словно специально попряталось...

Он принес одного рябчика и чуть живую тетерку. Он так и не решился ее прикончить. Зато с каким удовольствием он разобрал ружье, по-хозяйски оглядел стволы и принялся их чистить. Он и раньше стрелял, и раньше отец давал ему чистить ружье, но теперь каждое его действие имело другой, особенный смысл.

Закончив школу, Васильев поступил в Тульское оружейное училище.

В июле сорок первого оружейник Петр Васильев вступил в войну с фашизмом, а 9 сентября того же года выбыл из личного состава стрелкового полка, вышел из войны с тяжелым ранением обеих ног. И много-много раз, мотаясь по опостылевшим койкам тыловых госпиталей, он думал, что выбыл и из жизни.

В сорок первом — сорок втором годах еще не была написана «Повесть о настоящем человеке», корреспондент «Правды» Борис Полевой еще не встретил своего героя, и в ту кошмарную (в прямом смысле этого слова) осень сорок первого мужественные строки этой повести не могли поддержать Васильева. Он был один на один со своей болью, со своей слабостью, когда начиналась газовая гангрена, когда вновь и вновь ему ампутировали ногу, когда тащили из другой ноги мелкие зазубренные осколки, когда сознание то и дело проваливалось в душный, липкий кошмар, а возвращалось будто бы только за тем, чтоб понять: все! Жизнь кончилась!

Неверно! Он был не один. Рядом были такие же раненые, такие же искалеченные люди, и всякий боролся, как умел, и каждый, чуть выкарабкавшись оттуда, шел на помощь соседу по койке. Но все они были по одну сторону стены, разделяющей их со здоровыми.

А с той, здоровой стороны был один доктор... Он был только лет на пять или шесть старше Васильева и, чтоб казаться солиднее, завел роскошные буденовские усы.

Так вот, доктор... Васильев до сих пор не может вспомнить, как его звали, не помнит, в каком это гос-

питале произошло: так они все перепутались, свалялись, словно мокрые от пота волосы в горячем, тяжелом бреду...

Доктор... Это теперь, оглядываясь и имея за плечами огромный опыт, можно подумать: «Вроде ничего особенного и не сказал тот доктор...» Да. Ничего особенного. Он просто взял Васильева своими совсем не докторскими руками в охапку и перетащил по ту сторону стены, разделяющей здоровых и искалеченных. Он показал, что жизнь прекрасна, дал подышать ее вольным свежим воздухом и вернул обратно, мол, долечивайся, ты теперь знаешь, для чего тебе это нужно. А в словах действительно не было ничего особенного...

Когда Васильев решил, что проиграл, что жизни уже не будет, когда Васильев перестал сопротивляться, и сдался, и совсем перестал есть, тогда и рассмотрел он эти большие, совсем не докторские руки. Они возились совсем близко, около его лица... И ложка с бульоном казалась в них игрушечной.

И Васильеву вдруг стало стыдно. Он закрыл глаза и машинально открыл рот, чувствуя легкое и требовательное прикосновение к своим губам. Потом Васильев крепко сжал зубы и открыл глаза.

Была ночь, и над дверью горела синяя облупленная лампочка, покрашенная кем-то из бойцов простыми чернилами. Постанывали и метались во сне раненые. Васильев молча смотрел на доктора и видел, что у него над усами и на лбу проступили мелкие капли пота. Стыд прошел. Вместо него какое-то непонятное чувство сжало горло. Васильев медленно и неловко, плеща бульоном на одеяло, взял у доктора миску.

Потом доктор выпрямился и встал над Васильевым, большой, сутулый, с маленькой ложкой в опущенной усталой руке.

Доктор молчал и пристально смотрел ему в глаза. Потом, видно, поймав в них вернувшуюся жизнь, склонился и страшно выругался... Потом сказал:

— Руки есть? Голова еще есть? Мужиком себя чувствуешь? Живи, дурак. Предстоит жизнь, а не пляски!

Он выпрямился, постоял еще некоторое время, потом, видно уловив какое-то движение в глазах Васильева, молча бросил ему на одеяло ложку и ушел, не оглянувшись.

Вот и все, что сказал доктор.

Стало быть, ему выпал такой билет, и с этим нужно смириться. А может, и не смириться, а попытаться переломить судьбу, побороть ее, проклятую. Смиряться он так и не научился. Он выбрал борьбу. Он думал, что побороть судьбу нужно будет только один раз, только сейчас, он думал, что достаточно будет встать на ноги (вернее, на то, что от них осталось) и заново научиться ходить, и он, считай, ее победил, обвел, коварную, он тогда еще не знал, что бороться нужно будет каждый день...

В левой ноге (вернее, в том, что от нее осталось, половину ступни он потерял), по данным рентгенологов, засели пятьдесят мелких осколков, а на том, что осталось от ступни, снизу зияла незаживающая, открытая рана. Осколки не выходили. Когда он вновь, в очередной раз ложился в больницу, врачам удавалось извлечь один или два.

Такая насмешка судьбы. Совершенствовалась техника, повышалась разрешающая возможность рентгеновской аппаратуры, и врачи обнаруживали новые, ранее не замеченные осколки. И в такие мгновения он жалел, что эту ногу ему не ампутировали, как правую — выше колена.

Вот так обманула его судьба. Если б он тогда знал, что с малейшей переменой погоды рана будет выматывать душу острой болью, что каждый неловкий шаг будет выключать его из жизни на несколько минут, как это и произошло сегодня после перерыва в судебном заседании, решил бы он на борьбу?

На этот вопрос невозможно ответить, и потому Васильев никогда не задавал его себе. Наверное, решил бы...

Суханов не понял, да и не мог понять, что произошло с судьей. Он видел, как метнулась к судье секретарша, видел, как тот осадил ее одним взглядом, как потом вопросительно посмотрел на нее, и она, оглянувшись на окошко, отрицательно, чуть заметно покачала головой. И тогда Суханов понял, что судья чего-то ждет, и ему стало страшно от этого ожидания.

— Подсудимый... Встаньте.

Суханов с готовностью поднялся и принудил себя посмотреть судье прямо в глаза.

— Сколько вы зарабатываете?

«Зачем это ему, — тревожно пронеслось в голове у Суханова. — Опасно или не опасно?» — думал Суханов, одновременно отвечая:

— Когда как... Сто семьдесят, сто восемьдесят, а когда и двести. Еще премия... Когда бывает.

— Преступление было совершено пятого числа, — сказал судья, — значит, у вас в тот день были деньги?

— Да.

— Скажите, Суханов, — Васильев заглянул в папку с делом. — Когда вы выходили из дома, у вас с собой были деньги? А если были, то сколько?

«Стоп, вот тут стоп! Ага, вот ты как решил меня приловить! Не выйдет! Я не мальчик!» — подумал Суханов и в ответ сперва пожал плечами, а потом сказал с недоумением:

— Не помню... Я же к тому времени вырубился... То есть уже ничего не соображал.

— Хорошо, — сказал Васильев, — можете сесть. — И снова вопросительно посмотрел на секретаршу, а та снова выглянула в окно и чуть заметно отрицательно покачала головой. — Попросите сюда свидетеля Румянцева.

Румянцев был повыше Суханова, но сухошавее. И лицо у него было потоньше. Красивое, умное и серьезное лицо, единственно, чего не хватало на этом лице, так это жизни. Оно было словно остановлено в скупой иронически презрительной гримасе.

— Свидетель Румянцев, предупреждаю вас, что вы обязаны говорить суду правду и только правду, что за ложные показания и за уклонение от дачи показаний вы несете уголовную ответственность. Вам ясно?

Румянцев сдержанно кивнул.

— Расскажите, Румянцев, как давно вы знаете Суханова и какого рода отношения существуют между вами?

— Я бы не назвал это отношениями, — медленно и снисходительно сказал Румянцев, — мы просто знакомы. Нам недавно дали квартиру в том же районе, тогда мы и познакомились...

— Как недавно? — переспросил Васильев.

— Месяца два назад...

— Вам приходилось и раньше с ним выпивать?

— Приходилось.

— Сколько раз?

— Я не считал.

— А вы, пожалуйста, посчитайте, — сказал Васильев и пристально посмотрел на Румянцева.

«Вот тебе и добренький судья», — ахнул про себя Суханов. Он почувствовал, как у него вспотели ладони. Он медленно провел ими по коленкам и покосился на судью — не заметил ли он.

— Мы выпивали с ним четыре раза, — с оскорбленным видом ответил Румянцев.

— За два месяца? — переспросил Васильев.

— За два месяца, — еще оскорбленнее ответил Румянцев.

— И вы это не можете назвать отношениями или дружбой?

— Какие-либо отношения, тем более дружба, подразумевают прежде всего духовное общение... — пожал плечами Румянцев.

«А ведь я ждал этого слова «духовное», — подумал Васильев.

«Во дает!» — восхищенно подумал Суханов и украдкой посмотрел на Румянцева.

— Но ведь достаточно один раз посидеть с человеком, выпить, потолковать, чтоб понять его бездуховность, — Васильев с удовольствием произнес это слово, — а вы встречались с ним еще три раза. — Васильев выдержал некоторую паузу, а потом простодушно спросил: — Или вам больше выпить не с кем?

— Я уже сказал, что переехал в этот район недавно, — сказал Румянцев.

Стельмахович даже прикрыл глаза ладонями. Он никак не мог преодолеть свою застенчивость, и болезненно переживал это, и все-таки не мог заставить себя посмотреть в зал...

Игнатов, включившийся в процесс с каким-то даже азартом, теперь томился душой, с нетерпением поджидая, когда же начнется «главное». Что это такое «главное», он толком не представлял...

Прокурор, знавший Васильева давно, насторожился. «Неужели и на этот раз что-то раскопает?» — подумал он. И невольно потянулся к своим записям. «Где же я пропустил?..» Потом отложил записи в сторону (заглядывать в них не было необходимости, он и так все помнил наизусть) и стал изучать подсудимого.

— Стало быть, у вас в новом районе друзей, кроме Суханова, нет? — спросил Васильев.

— Но это не значит, что, кроме Суханова, у меня

вообще друзей нет, — с достоинством сказал Румянцев.

— Очевидно, все друзья у вас в техникуме и по старому месту жительства? Я вас правильно понял?

— Да, правильно.

— А Суханов вам нужен был, так сказать, по соседству, чтобы не бегать выпивать на другой конец города?

— Я не так часто выпиваю, — снова оскорбился Румянцев.

— Во время выпивок с Сухановым между вами не возникало противоречий или, может быть, ссор?

— Нет.

— Зоя, запишите это в протокол, — сказал Васильев, резко поворачиваясь к секретарю. Он прекрасно знал, что она записывает каждое слово, и сказал это вовсе не для нее, а для Румянцева, подчеркивая тем самым важность его ответа. Потом еще раз взглядом заставил ее посмотреть в окошко, и снова получил молчаливый отрицательный ответ, и даже не удержался, и озабоченно покачал головой.

— Скажите, Румянцев, сколько вы выпили в тот вечер, перед тем как вышли на улицу?

— Две бутылки портвейна на троих, — без запинки, ни на секунду не задумываясь, ответил Румянцев.

Васильев, не отрываясь, смотрел на Суханова. Тот при этих словах вздрогнул и быстрее заводил ладонями по коленкам. «Руки потеют», — подумал Васильев.

— А кто был третий?

— Какой-то Миша... Фамилии я не знаю.

— Кто ходил за вином?

— Вот этот Миша и ходил, — с иронией произнес Румянцев, и Васильев понял, что этот Миша сейчас находится в зале.

— Он при вас ходил?

— Да.

— А когда вы пришли к Суханову, у него не было другого спиртного?

— Нет.

— Кому пришла идея выпить?

— Не помню... Идея, как говорится, носилась в воздухе.

— На чьи деньги было куплено спиртное?

— Хозяин угощал, — сказал Румянцев, и опять Васильева поразила нескрываемая ирония. «Э-э, брат, да

ты его не любишь, — подумал Васильев. — Интересно, за что? Какие у вас счеты? Сначала открестился от него, теперь сознательно топит дружка. И не находит нужным это скрывать и даже позволяет себе иронию».

— Стало быть, вы выпили на троих литр портвейна? — спокойно уточнил Васильев.

— Да.

— А почему же вы сразу не пошли домой спать? Вы, наверное, крепко опьянели?

— От трехсот граммов невозможно крепко опьянеть.

— Ну почему же, — добродушно возразил Васильев, — есть люди, которым эта доза почти смертельна.

— Я не из таких.

— Значит, вы не чувствовали острого опьянения? — спросил Васильев уже для протокола.

— Не чувствовал! — Румянцев начал злиться.

— А ваш собутыльник Миша?

— Он тоже не чувствовал.

— А Суханов?

— Суханов тоже не был пьян, — отчетливее, чем это было нужно, произнес Румянцев, в сторону Суханова он даже не посмотрел.

Васильев сделал паузу, чтобы Зоя успела записать все в протокол, и повернулся к народным заседателям:

— У вас есть вопросы к свидетелю по этому поводу? Нет... У прокурора? Пока нет. У защиты? Есть? Пожалуйста.

— Скажите, Румянцев, — от долгого молчания голос у Беловой дрогнул, она повторила: — Скажите, Румянцев, вам часто приходилось бывать дома у Суханова?

— Нечасто... Я всего раза два был у него дома.

— Как он живет?

— Не понял? — Румянцев иронически шевельнул бровью.

— Ну, как у него в доме, чисто ли, уютно ли?

— Но ведь может так случиться, что у нас с вами различные понятия об уюте...

— И все-таки, — настояла Белова, — как он содержит свое жилье?

— Порядок в его доме идеальный, — усмехнувшись, ответил Румянцев. — Он любит свой дом, и свою мебель, и свои салфеточки, знаете, такие кружевные на комод, и на тумбочке, и на телевизоре...

Васильев видел, как от этих слов у Суханова по-

краснели скулы, как натянулась на них кожа и сжались пальцы.

— Спасибо, у меня пока нет вопросов, — сказала Белова.

«Ну, Боренька, ну, Румянцев, подожди, красавчик, — думал Суханов. — Я тебе припомню и тумбочки и салфеточки, я тебе все припомню...» — Он понял, что Румянцев его топит.

— Свидетель Румянцев, расскажите, пожалуйста, подробнее об этой выпивке. — Васильев теперь говорил спокойно и даже несколько скучным голосом, словно знал все наперед и лишь соблюдал обязательную формальность.

— Ну, как это бывает... — Румянцев пожал плечами, — принесли вино, хозяин накрыл на стол, поставил закуску... Точно не помню, но, кажется, были рыбные консервы, яичница на сале, потом, кажется, сыр... Ну, налили в рюмки и стали выпивать и закусывать. Должен сказать, что хозяин — Суханов — делает это с большим вниманием. Никогда не позволит суетиться за столом, пить из стаканов, наспех, без закуски. Наверное, поэтому мне и нравится с ним выпивать... Вот вы спрашивали, как это я могу бездуховно пить... Но в хорошем застолье, по-моему, изначально заложено нечто духовное...

«Красиво излагает...» — подумал Васильев и сказал:

— Стало быть, вы пили, не торопясь, помаленьку и хорошо закусывая, и опьянения никто из вас не почувствовал? Я правильно понял?

— Правильно, — снисходительно ответил Румянцев.

— А после встречи с Гладилиным что произошло?

Румянцев отметил про себя, что судья пока никак не квалифицирует преступление, он не говорит, к примеру, «после ограбления» или «после хулиганского нападения», а произносит неопределенное слово «встреча».

— После встречи, — сказал Румянцев, подчеркивая это слово, — мы пошли в магазин. Суханов захотел еще выпить.

— И что же вы купили в магазине?

— Две бутылки коньяка...

По залу пронесся легкий шорох и скрип стульев, будто все сразу переменили позу.

— Кто покупал?



— Суханов.

— Он говорил вам, сколько... — Васильев на мгновение замялся, но быстро нашел нужное слово, — сколько ему удалось добыть денег?

Суханов во второй раз за весь день посмотрел на Румянцева. Тот, не поворачиваясь к нему, словно почувствовал этот взгляд и даже непроизвольно поежился.

— Не помню...

— Постарайтесь припомнить.

Суханов отвернулся к окну и по-куриному нырнул вперед головой.

— Не помню, хотя... — он посмотрел в затылок Суханову, — хотя, — повторил он после паузы, — что-то в этом роде было сказано. Когда решалось, что будем покупать, Суханов предложил коньяк, я засомневался, что денег не хватит, но Суханов улыбнулся и похлопал меня по плечу, а потом по своему карману и сказал, что теперь хватит. — Румянцев подчеркнул слово «теперь». Он посмотрел на Суханова и увидел, что тот еще раз дернулся, понял, что слово попало в цель, и чуть заметно довольно улыбнулся.

— Вы видели, какими деньгами Суханов расплачивался в магазине?

— Двадцатипятирублевой бумажкой.

— Вы видели, сколько денег отнял Суханов у Гладилина?

— Нет, я стоял далеко.

— Расскажите, что вы видели.

— Мы шли по улице...

— С какой целью?

— Я уже сказал: купить выпивку.

— За коньяком? — мимоходом уточнил Васильев.

— Нет, просто за выпивкой, — настойчиво повторил Румянцев, — коньяк было решено купить потом. Мы шли медленно. Нас обогнал Гладилин. Суханов окликнул его.

— По имени?

— Нет, он крикнул «эй!». Гладилин не остановился, и Суханов догнал его и взял за руку. Я подумал, что это знакомый Суханова и они выясняют какие-то старые отношения, и решил не мешать им...

Васильев заметил, что при этих словах Суханов посмотрел на Румянцева с нескрываемой ненавистью.

— Теперь, когда вы все знаете, как вы можете объяснить поведение Суханова? — спросил Васильев.

Румянцев равнодушно пожал плечами и сказал так: — Точно объяснить его поведения я не могу. Мне кажется, что это затянувшееся мальчишество. Какие-то игрушки... Какие-то «казаки-разбойники».

Румянцев ответил, якобы выгораживая Суханова, но вместе с тем ничем не облегчая его положения. Больше того, этими словами он почему-то больше всего задел Суханова. Васильев, внимательно наблюдавший за подсудимым, готов был поклясться, что после этой вроде бы доброжелательной фразы, произнесенной, впрочем, несколько снисходительным и небрежным тоном, Суханов ударил бы Румянцева, если бы имел возможность, он даже дернулся на своей скамье так, что милиционеры насторожились. Васильев понял, что невольно помог Румянцеву свести какие-то счеты с подсудимым. Впрочем, фраза была настолько безобидна, что судья так и не понял, каким образом он это сделал.

— Свидетель Румянцев, садитесь, — Васильев посмотрел на Зою, — пригласите свидетеля Никифорова Николая Николаевича.

Свидетель Никифоров, вам, как стороннему наблюдателю, показалось, что Суханов был сильно пьян? Уточняю вопрос, вел ли он себя как пьяный, то есть: не координировал движения, говорил повышенным голосом и прочее.

— Я же видел их в тот вечер два раза, — несколько подумав, серьезно и сосредоточенно сказал Никифоров, — первый раз — когда шел в магазин, а второй, когда шел обратно... Когда я шел в магазин, они зацепили меня, вернее не они, а Суханов, но тогда я не знал его фамилии, хотя лицо его мне было знакомо по танцам... В общем, на ногах стоял он крепко, я чуть в сугроб не отлетел, и выругался он мне вслед довольно внятно, пьяные так не ругаются... А когда он деньги отнимал, то я еще удивился, как аккуратно он это делал... Вернее, я потом удивился, когда узнал, что он отнял деньги. Я, конечно, видел пьяных, но он был не пьяный; может быть, что называется, выпивши, но себя помнил.

Прокурор пытался понять, что же подготовил Васильев. Он, конечно, понял, что судья решил доказать, что Суханов не был пьян в момент ограбления, но совершенно не понимал, зачем ему это нужно. Ведь то, что он был трезв, не является в данном случае ни смягчающим, ни отягчающим обстоятельством. Понятно, что подсудимый старается свалить все на пьянку. Но

Васильев же знает, что раз доказан факт грабежа, то обойти этот факт нельзя. И прокурор не видел причины затягивать и усложнять совершенно очевидное дело. Но он помнил, что раз Васильев это делает, то определенно имеет к этому веские основания, и прокурор досадовал на себя за то, что он эти основания или не может разглядеть, или уже упустил.

Володя Гладилин боялся Сухого (такая у Суханова была уличная кличка, «кликуха», как говорили в фабричном районе). Он решил держаться по возможности нейтралитета. «Вот не было печали, — думал он, — теперь выйдет из колонии, и на улицу не показывайся вообще... И чего бы мне пойти другой дорогой в тот вечер...»

Его рассказ о случившемся был бы еще короче, но он понимал: раз двое видели, как Сухой его бил, то ему надо об этом рассказать, а то судья вон какой строгий, еще упечет за дачу ложных показаний... Злости на Сухого у него не было, разве только немножко за то, что тот втянул его в эту историю. Гладилин всю жизнь старался избегать всяких историй, ходил всегда «другой дорогой» и «по другой стороне», и вот надо же, все-таки влип...

И снова, прежде чем задавать другие вопросы, Васильев задал тот же, что и предыдущим свидетелям:

— Суханов был пьян, когда остановил вас?

Гладилин пожал плечами:

— Я не обратил внимания, — сказал он совсем тихо. Он не знал, как сказать лучше.

— Ну, когда он разговаривал с вами, когда требовал деньги, язык у него заплетался? От него пахло спиртным?

— Я не обратил внимания, — пробурчал Гладилин.

— Почему вы так безропотно отдали деньги? Ведь физически вы, наверное, не слабее Суханова.

— Но их было двое, — чуть ли не шепотом ответил Гладилин.

— А второй совершал какие-нибудь угрожающие действия?

— Я не обратил внимания... Не заметил...

— Как был одет второй?

— Я не разглядел...

— Вы знали Суханова раньше?

Гладилин задумался: «Кто нас видел вместе, кто нас знакомил? Можно сказать, что знал, а как лучше?

Но ведь я на следствии говорил, что не знал, там так и записано в протоколе...»

— Нет, не знал, — ответил Гладилин.

— Почему вы сразу не заявили в милицию о случившемся?

— Я бы и вообще не заявил... — сказал Гладилин и посмотрел в сторону Сухого, словно ожидал одобрения своим словам.

— Почему?

— Не стал бы заводитьсь из-за шести рублей.

— А из-за шестидесяти? — спросил прокурор.

Гладилин пожал плечами.

— Вы не знаете... А если б Суханов, окрыленный легким успехом, пошел бы на поиски следующей жертвы, если б другой человек оказал ему сопротивление и Суханов нанес бы ему тяжелые телесные повреждения или увечья? Вы понимаете, что это преступление было бы и на вашей совести?

— Но ведь так не было...

— Могло бы быть! — резко сказал прокурор. — У вас отняли деньги. Немного. Вы думаете, что это ваше личное дело... А преступник безнаказан. Вы не выполнили свой гражданский долг. И сейчас уклоняетесь от выполнения... Конечно, вы можете оправдаться тем, что со страху все позабыли, был ли пьяный Суханов, как был одет второй и как он себя вел, но мне кажется, что страх более серьезный и конкретный заставляет вас говорить, что вы испугались тогда вечером... Мне кажется, вы знали Суханова и раньше и теперь боитесь показывать против него. Вы, конечно, можете больше ничего не говорить — ваших показаний уже достаточно для суда, но мне хотелось бы, чтобы вы рассказали нам все. И не для нас, хотя чистосердечным рассказом вы поможете суду, а для себя. Вам это нужно больше! Садитесь и подумайте. И если вам найдется что сказать, а я на это надеюсь, суд предоставит вам слово.

Васильев посмотрел на Зою. Она утвердительно кивнула. «Значит, привез обоих... Молодец. Но их черед пока не пришел. Будем считать, что первый его (Суханова) бастион уже разбит. Сейчас будет разбит... Но это только первая полоса укреплений, наверняка за ней готова уже вторая... А когда мы разобьем и эту, он воздвигнет третью. За его поступком наверняка стоят

серьезные мотивы... Они, видимо, куда серьезнее, чем «выпить хочется, а не на что». Наверняка у него были деньги, и даже с собой. Ладно, выясним... Кстати, Румянцев знает мотивы. Точно знает, но не скажет. Утопит просто и изящно, говоря якобы только правду, но мотивов не скажет, а они есть, и очень серьезные. Не скажет? Скажет! И Горелов все скажет. Иначе надо гнать меня в шею. Иначе я ничего не умею, и Гриня водит меня за нос.

— Подсудимый, встаньте...

Суханов увидел, что произошло именно то, что ожидал с нетерпением судья и что таило в себе неизвестную угрозу. Мысли его заметались, и он стал напряженно прислушиваться к шагам в коридоре, пытаясь понять, что же это за опасность.

Он даже не сразу понял, что судья обращается к нему.

— Встаньте, подсудимый! — повысил голос Васильев. Суханов, опомнившись, вскочил. — Вы продолжаете утверждать, что были пьяны в момент совершения преступления?

— Я не знаю... Пьяный там или не пьяный... Это как на чей взгляд, но ничего не помню...

— Вам, — Васильев заглянул в дело, — двадцать три года, сложены вы вполне нормально, неужели на вас триста граммов портвейна подействовали так оглушающе?

— Не знаю, как там получилось, но я ничего не помню.

— Из чего вы пили вино?

Прокурор уже смотрел на Васильева не удивленно. Теперь, когда он понял, что у Васильева есть какие-то неизвестные козыри, то внимательно прислушивался к самому (на первый взгляд) нелепому и странному вопросу, стремясь вовремя ухватить его идею.

Суханов пожал плечами:

— Из рюмок, из чего же еще...

— А чем закусывали?

— Не помню, — сказал Суханов и почувствовал, как меж лопаток потекла щекотная струйка пота.

— Подсудимый, — сказал Васильев, — объясните суду, как это получается? Вы утверждаете, что были пьяны и ничего не помните, а свидетели совершенно определенно показывают, что вы пьяны не были. Да и если судить строго по фактам, вы и не могли опьянеть

от такой дозы. Бывают, правда, случаи патологического опьянения, когда человек от ста граммов пьянеет на несколько часов, но и это не так, как видно из заключения судебно-психиатрической экспертизы. На другой день вы себя чувствовали нормально. И у суда больше оснований верить свидетелям, чем вам. Вы говорите, что не знали Гладилина, но создается впечатление, что вы раньше были знакомы с ним. Тем более что из материалов дела видно, что живете вы недалеко друг от друга... Деньги на выпивку вам были не нужны, вы эти шесть рублей и не потратили. В вашем поведении пока трудно усмотреть хоть какую-то логику. Объясните нам, что же все-таки произошло в тот вечер? И поймите наконец, что запирательством вы только себе вредите.

Васильев заметил, как Суханов тяжело сглотнул и при этом привычно дернул головой, как стрельнул в сторону Румянцева злобным взглядом и как набрал воздуха, словно для того, чтоб что-то крикнуть. Но вместо крика он судорожно вздохнул и монотонно пробубнил, уже не глядя ни на кого:

— Я уже сказал, что был пьян и ничего не помню... Пришел в себя только утром.

— Ну что ж, — сказал Васильев и выразительно посмотрел на Зою, — попробуем обойтись без вашей помощи. Позовите, пожалуйста, свидетеля Горелова.

Когда Гриня — Горелов без малого год назад вошел в зал судебных заседаний, у него вдруг как-то ослабли ноги и задрожали колени, и это осталось в памяти как самое отчетливое воспоминание о том дне.

И сегодня, как только он переступил порог суда, вернулось прежнее ощущение слабости в ногах, и Горелов был вынужден опуститься на стул. Ему казалось, что все видят, как у него дрожат колени.

И ведь что странно — когда он приходил к Васильеву в положенные дни (один раз в три месяца) на так называемое собеседование, с ногами было все в порядке. А вот сегодня — пожалуйста.

Он знал, что слушается дело Суханова.

Он знал, вернее догадывался, зачем его вызывают, Милиционер, приехавший за ним на работу, ничего толком не объяснил, но он все понял, когда они с милиционером заехали на завод за Морозовым.

Он знал, что ему бояться нечего, и все-таки колени дрожали.

«Интересно, как там Сухой? — думал Горелов. — Бедненький... Он бедненький, а ты сидишь и думаешь о нем.

Ты считал, что его уже нет для тебя, даже когда не мог оторвать взгляда от его сутулой спины и распахнутого пальто, а он есть, и не проходит дня, чтобы ты о нем не думал... Почему? Как случилось это? Когда началось?»

А началось это куда раньше, чем Гриня заметил сам. Ему все было некогда. Школа, секция дзюдо, дом, книги съедали все время. Во дворе ребятня провожала завистливыми взглядами: «Смотри, смотри, идет! Видишь, какая походка? Знаешь, какие приемчики там разучивают?»

Из какого угла, из какой паутины заметил его цепким глазом Сухой? Он и сам теперь не помнит. Спроси у него, перепуганного, не скажет. И если вспомнит, не скажет. Кто ж в таком признается... А началось-то все со слова...

— Что? Первый разряд? Плевать, — говорил Сухой своему приятелю. — Человек не разрядами меряется. Чем? Натурой. И Гриня такой же, как все...

И слово было сказано. И неважно, что с того момента прошло время. Слово вылежалось на самом дне, отяжелело, как мореный дуб, и почернело так же. Слова ведь не пропадают.

Гриня раньше и не знал, что такое бывает. Видел в кино, читал в книгах, конечно, верил, но не знал, что так может быть и с ним. Во всяком случае, он был не готов к такому. Он рассказал все отцу. Хороши же эти взрослые... Даже самые умные и близкие: «Жениться тебе, пожалуй, рановато...» Кто же мог подумать об этом?! И еще: «Тебе повезло. Береги. Любовь еще никого не делала хуже».

— Нет, батя ничего... Сечет. А про женитьбу он просто так, в порядке профилактики.

Сухой специально не готовился. Это была чистая импровизация, которой он потом долго гордился.

Был один вечер в неделю, когда Нина возвращалась домой одна из танцевальной студии. Так уж получалось, что по средам и у Грини были тренировки. Сухой

встретил ее случайно. Он не готовился к этой встрече и чуть было не прошел мимо, но все-таки признал, разглядел на другой стороне улицы. Он сгреб своих спутников, притянул к себе и зашептал скороговоркой:

— Вот видите в зеленом пальто с белым воротником? Быстро. Но чтобы пальцем не трогать. Только тихо, очень тихо и пострашнее. Зачем? Кто спросил зачем? Значит, никто... Тогда быстро и не выпускать, пока я не подойду. Если кому по салазкам ненароком заеду — с меня бутылка, в порядке компенсации. Что это такое? Выпьешь — узнаешь.

— ...Я их не запомнила. Знаешь, ничего не видела со страху. А того, который их расшвырял, запомнила, — рассказывала Нина, — он меня до самого дома проводил. И вовсе не приставал, он даже под руку меня не взял, а шел в стороне. Да ты его, наверно, знаешь. Мы с тобой его видели. Я тебе его обязательно покажу.

Потом она его показала. Гриня подошел к Сухому. Нина сперва стояла в стороне, потом подошла и протянула руку вверх ладошкой.

— Вы меня, наверное, не помните? На той неделе ко мне пристали двое, а вы вступились.

Сухой пожал плечами, дескать, какие пустяки, был рад помочь, а потом с размаху, широко шлепнул Гриню по его огромной спине.

— Ладно. Мы все должны помогать друг другу... — И ушел.

Потом Гриня встретил его один. Поздоровались как приятели, разговорились. Пошли рядом и незаметно пришли к дому Суханова.

— Почему тебя зовут Сухой?

— А ты откуда знаешь?

— Слышал...

— По фамилии кликуха прилипла. Фамилия моя Суханов. А ребятишки зовут Сухой. А я и впрямь Сухой. Я никогда не пьянею. Да и не очень люблю. Ребятишки, — он произносил это слово с отеческой интонацией, — приносят, а я так, рюмочку, две... Все равно без толку...

— А те двое здоровые были?

— Гриня, оставь эти заботы. Они свое уже получили.

— Хотел бы я на них посмотреть.

— Это были «железнодорожные»... Мелочь пузатая. Они сперва меня не узнали... Потом, когда схлопотали



по разу, у них глаза открылись. Один даже запищал со страху как заяц.

— Тебя знают...

— Не в этом дело. Если к тебе кто пригребется у нас, или еще где, скажи, что мой друг.

— Да я и сам могу поговорить с кем угодно...

— Гриня, — сказал Сухой ласково, — против лома нет приема.

Нет, они не стали друзьями. Гриня просто стал бывать у Сухого. Разумеется, без Нины. Там собиралась мужская компания.

И вот теперь, сидя в коридоре суда, Гриня думал, что тогда все и началось, хотя началось все значительно раньше, началось со слова, засевшего в дремучей голове Сухого.

Зачем он ему был нужен? Ни за что на свете Сухой не ответил бы на этот вопрос. Может быть, и потому, что не знал, как ответить. Он ему мешал, вот такой, высокий, здоровый, тренированный, независимый, проходящий мимо и незамечающий. Ему мешали восхищенные взгляды детворы. Ему было тошно молча сторониться и уступать этому молокососу дорогу. У него каждый раз зубы ныли от тоски, когда приходилось это делать. Ему нужно было, чтобы Гриня сам, первым, здоровался с ним, сидел с ним за столом и так же, как все, слушал его и молча кивал, ему нужно было изредка подмигнуть Грине с таким видом, будто только они двое могут понять друг друга. А сам Гриня ему был не нужен.

Сухой знал, что Гриня, несмотря на свой рост и могучее телосложение, еще мальчишка. Он знал, что редкий парень устоит перед соблазном почувствовать себя старше и бывалее, он знал, что для этого нужно Грину завести в дом, в его, сухановский, дом и оставить. В общем, он и сам останется.

А у Грини была возможность выскользнуть. Но для этого ему нужно было вовремя спохватиться... Но разве можно вовремя спохватиться в семнадцать лет?

Первой заметила Нина.

— С тобой что-то происходит, — сказала она.

— Ерунда, — ответил он, — просто я тебе не нужен.

— Я тебя не понимаю...

— Был бы нужен, ты вела бы себя по-другому.

— Я тебя не понимаю...

— Чего тут понимать?! Мне надоели наши детсадовские отношения.

— Ах, вот ты о чем? — И замолчала на весь вечер. Они сидели у нее дома. А позже, когда уже надо было уходить, он схватил ее. Наверное, хотел обнять, но получилось так, что схватил. Она не испугалась, она удивилась. У него не хватило решимости ее удержать, и она заперлась в ванной. Когда смолкло шипение и плеск воды, заглушающие ее плач, он услышал только одно слово: «Уходи». Он ушел злой. У Сухого в тот вечер веселились. Там Гриня был нужен, там его всегда ждали, там все эти проблемы не существовали. «Гриня! Посмотри на себя! Любая герла за тобой босиком побежит и не простудится».

Потом были танцы в Доме культуры. Вернее, самый конец. Потом вино распивалось прямо на улице из горлышка, и знакомые девчонки смеялись в ответ на замечания редких прохожих. Потом снова сухановский приземистый дом с желтыми окнами, похожий на квадратную черепаху и полный всевозможных укромных углов, куда не доставал свет, потом вдруг прибежал Мишка и сказал, что кто-то из «железнодорожных» «выступает», и Гриня выбежал первым и первым догнал троих парней, но поймал только одного, да и то не ударил, злости не было, а бросил в сугроб, и тот долго не мог выкарабкаться из снега, а Миша все пытался достать его ногой, а Сухой оттолкнул Мишу и сказал, что с того хватит, а если он, Миша, что-нибудь еще имеет, то может догнать тех двоих и самостоятельно с ними потолковать. И Гриня, конечно, не заметил, что говорил это Сухой для барахтающегося в снегу парня, чтобы тот рассказал своим о справедливости Сухого.

А через несколько месяцев был день рождения Сухого. Нина, с которой Гриня все-таки помирился, не пошла с ним.

Под конец вечеринки остались только избранные и новый «чичероне» Сухого, его пламенный поклонник и подражатель Сашка Морозов. Сухой любил его, как любили суровые короли придворных шутов.

Потом был суд...

Потом тот же Мишка по пьянке, не желая ничего плохого Суханову, а просто так, в знак особого расположения к Грине, протрепался о том случае с Ниной.

— Вот сюда он мне заехал геройской рукой, — говорил Мишка и показывал на свой выдавший виды нос. — Правда, бутылку поставил, как обещал. А из него бутылку просто так не вытянешь.

Потом Горелов пришел к Сухому, и тот, словно почувствовав, о чем пойдет речь, решил сразу показать, кто есть кто.

— Не нравится мне твое лицо, Гриня, — сказал с ласковой скрытой угрозой. — Не нравится мне, что ты слушаешь всяких трепачей. И тебе уже, вижу, не нравится наша компания. Ты почему-то думаешь, что тебя кто-то здесь держит... Ведь он думает так? — Сухой обернулся к Сашке Морозову, и Сашка будто за него дернул по-куриному головой в знак одобрения. — А может, он обиделся на нас за что-нибудь? — продолжал Сухой, — может, он чувствует себя безвинно пострадавшим? Как ты думаешь, Саня? Ведь ты не меньше пострадал, ты должен знать... Ладно, замнем эту тему, а то, чего доброго, он еще руки начнет распускать, видишь, как желваками играет... А ему нельзя. У него испытательный срок. Он должен вести себя пайнкой. А то посадят его, а мы опять, грешные, виноваты будем. Ступай, Гриня, с богом. Иди, а если захочешь прийти обратно, то покупай бутылку, придумай пару слов себе в извинение и приходи. Будем рады. Только помни: против лома нет приема...

— Если нет другого лома, — подхихикнул Санька Морозов.

Теперь Санька Морозов сидел по другую сторону двери, ведущей в зал заседаний, и по нему было видно, что происходящее его мало занимает. Впрочем, некоторое любопытство проглядывало сквозь его презрительную гримасу, но беспокойства или тем более страха на его лице не было. Дорогой, поглядывая на милиционера, ведущего машину, они обменялись несколькими, ничего не значащими словами. Правда, одна фраза поразила Гриню — Горелова:

— Теперь-то Сухому точно крышка, — весело сказал Санька.

«Быстро же ты переметнулся», — неприязненно подумал Горелов и перестал с ним разговаривать.

«Да, Сухому, наверное, крышка... — думал Горелов. — Гладили-то его простил, а суд не простит. И Румянцев не простит... Если Мишка не треплется... Васильев просто так не вызовет, значит, будут спрашивать о прошлом. А что я им отвечу? Что чуть было не угодил из-за Сухого в колонию? А при чем здесь Сухой?

Ведь не он это сделал. Я сам, своими руками... Там, наверное, они все сидят в зале. Сидят и ждут. Интересно, они знают, что меня вызвали?.. А может, я просто боюсь их?! Боюсь Сухого? Ну нет. Они меня боятся. Ну ладно, так что же мы будем отвечать? Вот спросят, что за человек Сухой и какие у вас с ним отношения, товарищ Горелов? А в зале все замрут: «Расколется или не расколется? Конечно, расколется. Сухой идет на отсидку, на него можно валить. Ведь ты на крючке, Гриня. Тебе нужно, чтобы судья тебе верил. Нужно быть примерным мальчиком, а то и тебя посадят, ведь испытательный срок еще не кончился». Вот так и подумают. И еще подумают потом: «А кишка-то у тебя тонковата, Гриня».

А если разобраться... Что плохого сделал мне Сухой? Приглашал в гости? Угощал, говорил приятные слова... Ну, хорошо, Нина... Но ведь они ее не тронули. Это могло быть случайностью, что именно Нина. Просто Сухому хотелось походить в героях, просто она ему нравилась, а Мишка врет.

А что ты паникуешь? Может, Васильев ни о чем таком и не спросит. Во всяком случае, ни о чем таком, чтоб тебе пришлось врать или выкручиваться за счет Сухого. А врать Васильеву очень не хотелось бы.

Горелова вызвали в зал заседаний.

Он не сразу увидел Суханова, а когда увидел, то поразился: «А Сухой-то маленький... Совсем маленький. И жалкий... Как он мог занимать столько места в моей жизни? Почему?»

Сегодня судья был другим, нежели в кабинете в те дни, когда Горелов уже после своего суда приходил к нему и они беседовали. В кабинет обычно заглядывали всякие люди, Васильев одновременно отвечал на несколько телефонных звонков и движением руки удерживал Гриню, порывавшегося уйти, чтобы не мешать. Сегодня Васильев был таким же, как без малого год назад на том процессе, где решалась его, Горелова, судьба. И даже еще серьезнее и жестче. Он не улыбнулся и даже взглядом не одобрил его, не кивнул как старому знакомому, и Горелов понял, что решать ему придется самому.

Он и не знал, что Васильев волновался сейчас не меньше его. Он мог бы сыграть на их знакомстве, заговорить по-дружески, как в кабинете, и, используя уже заработанный контакт, помочь Грине быть до кон-

ца откровенным. Но он себе этого не позволил. Он верил в Горелова. Он знал, что тот и без посторонней помощи поступит так, как нужно.

— ...Распишитесь в том, что вы предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний... — сказал судья. — Я хотел бы задать вам несколько вопросов, касающихся выяснения личности подсудимого Суханова... Должен вас предупредить, что ваши ответы могут повлиять не только на судьбу подсудимого, но и на судьбы других людей, и поэтому, прежде чем отвечать, я советовал бы вам хорошенько подумать и все взвесить. Вы знакомы с Сухановым Анатолием Егоровичем?

«Оказывается, его зовут Толя. Но ведь его зовут Сухой, а Толей его никогда и никто не называл... — Горелов посмотрел на Сухого. — Как смешно торчат у него уши... Действительно Толя, даже Толик. Как хочется посмотреть назад в зал... Интересно, они видят, что он Толик?.. Маленький и не страшный... Но ведь он снова станет Сухим, только еще хитрее и злее. В другой раз он не попадется... А они, не они, так другие, снова пойдут к нему... И будут, как он, дергать головой и смотреть ему в рот. Они, наверное, и сейчас не видят ничего... Этот процесс ему только на руку. Поднимет авторитет. Теперь он будет говорить сквозь зубы: «А срок ты мотал, салага?..» Ну нет!»

— Вы знакомы с Сухановым? — повторил свой вопрос судья, и в его голосе послышалось беспокойство.

— Да, — твердо ответил Горелов.

— Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились?

И Горелов начал рассказывать. Все. С самого начала, не упуская ни одной подробности.

Игнатов появлению нового свидетеля не придавал особого значения. Он считал, что все уже и так ясно. И вообще, процесс его надежд не оправдал... Хотя был момент, когда он думал, что вот сейчас начнется самое интересное, но ничего не начиналось, а тянулись бесконечные выяснения: кто платил, сколько, что пили, чем закусывали... И вот новый свидетель и новые подробности годичной давности... Одним словом, Игнатов перегорел.

Стельмахович точно знал, что все так оно и будет. Если на бракоразводном процессе Васильев был так доштен, так что же ожидать от уголовного дела. Правда,

было не совсем ясно, куда клонит Васильев, и Стельмахович объяснял его поведение въедливым характером, но когда заговорил этот новый свидетель, он вдруг понял все. И то, что произошло почти год назад, и то, что произошло раньше и что происходит сию минуту, и ему вдруг захотелось вскочить и закричать: «Стойте! Подождите! Дайте мне сказать, я все знаю!» И он заволновался, не зная, как совладать с этим внезапным желанием, не зная, как поступить. И тогда Стельмахович придвинул к себе листок чистой бумаги и торопливо написал: «После выступления этого свидетеля объявите, пожалуйста, перерыв. Очень надо». И дописал: «Необходимо». И отдал листок Васильеву. Тот прочитал и, ни о чем не спрашивая, утвердительно кивнул. Игнатов тоже заглянул в бумажку и с любопытством посмотрел на Стельмаховича. Потом Васильев приписал: «Пятнадцать минут хватит?» И Стельмахович написал: «Да», хотя достаточно было только кивнуть.

Горелов рассказал все. Он трудно лепил слово к слову, фразу к фразе, словно делал тяжелую, но необходимую работу. Он не мстил Суханову и не чувствовал облегчения и сладостного упоения местью. Он боролся с ним, понимая, что это единственно возможный для него способ. Ведь не выйдет же он с Сухим один на один... Тот увильнет, да и вообще смешно — слишком уж разные у них весовые категории, и невозможно применить честные и красивые правила спортивной игры к Сухому. Он как-нибудь, да умудрится и эти правила, справедливые для обеих сторон, приспособит для себя, для своей так называемой справедливости...

Когда Гриня рассказал все, Сухому сделалось жалко себя. Он чуть не заплакал, настолько остро и сильно подкатила эта проклятая жалость. Ему вдруг захотелось подойти к защитнице и уткнуться ей в плечо и поплакать. Никого ближе ее у него в зале не было. Те, что сидели сзади (наверное, Мишка, Андрюха, Рыжий, наверное, все... Только Санька, наверное, не пришел...), уже были чужими и враждебными.

И тут Васильев убедился, что интуиция или опыт не подвели его и на этот раз. Теперь он понял, откуда взялись тревога и ощущение опасности, не покидающие его сегодня. Он понял, что не зря волновался. И за молодых ребят, сидящих в зале, у которых в глазах ни-

чего, кроме сочувственного любопытства, не было, и за Гриню, который теперь совсем вырвался из цепких и липких лап Суханова, и за Саньку Морозова, судьба которого еще была неясна.

Когда Горелов рассказал все и судьи собрались в кабинете Васильева, председатель Игнатов закурил, а Стельмахович вынул пачку сигарет, бессмысленно повертел в руках и снова спрятал в карман и потом, когда он наконец нашел нужное слово, то так и сказал:

— Он «хазарь». Так они назывались у нас в Астрахани, когда я там жил с родителями... Не знаю, как они называются здесь, да это и не важно. Важно то, что он «хазарь». — Заметив непонимающие взгляды, Стельмахович пояснил: — «Хаза» — это на астраханском жаргоне то же самое, что хата, малина, словом, дом, куда можно прийти, где можно собраться без родителей, без посторонних, а хозяин такого дома — «хазарь». Это очень сложное понятие «хазарь». Вот я сейчас слушал Горелова и удивлялся тому, что «хазари» не меняются ни от времени, ни от места. У Суханова точно такие же ухватки и манеры, как у нашего астраханского Силы. Это была его кличка. Он любил говорить: «со страшной силой», и его сперва звали «страшная сила», потом просто Сила. Только Сила дергал не головой, а правым плечом, будто поводил им... Вот так, — и Стельмахович показал... — И еще у него справа снизу были два золотых зуба или две коронки, и он улыбался криво, одним правым углом рта.

— Так что же такое «хазарь», содержатель притона? Вроде трактирщика? — весело спросил Игнатов. Его забавляли серьезность и взволнованность Стельмаховича. Васильев, слушавший Стельмаховича с особым вниманием, болезненно поморщился на эту реплику, нетерпеливо попросил:

— Пожалуйста, продолжайте, продолжайте.

— Нет, это не трактирщик и не содержатель притона, но это и не главарь банды, хоть к нему и заглядывали другой раз бандиты (я говорю о нашем, астраханском), и он оказывал им небольшие услуги. Это был хозяин улицы. Они обычно не воруют и никого не подбивают на воровство. Вроде бы не делают ничего предосудительного с точки зрения закона, но все преступления, совершенные на нашей улице, начинались у Си-

лы. Он никого к себе не звал, даже наоборот, когда к нему приходили, он криво улыбался своими фиксами и говорил: «А, пришлепали? Ну и что?» — и замолкал, и у него хватало выдержки молчать до тех пор, пока кто-то из ребят не придумывал какое-нибудь неотложное дело. До сих пор я еще не встречал человека, который мог вот так, одной улыбкой и молчанием внушить свою значительность. К нему приходили, как... — он замолчал, подыскивая нужное слово, — хотел сказать, как домой... Нет, это неверно. Это был не дом. Это была стая. Туда приходили, чтоб почувствовать себя сильнее, храбрее, взрослее, и, честное слово, находили все это. В стае ребята были непобедимыми. А Сила был центром этой непобедимости, и его кривая усмешка была гарантией. И еще одно... Очень важное... Мы были другими... Мы были застенчивыми. Поодиночке подойти к девушке, познакомиться — это было неразрешимой проблемой. А подойти и познакомиться мечтал, разумеется, каждый. Так вот, там, у Силы, в стае, эта проблема решалась просто: девушек развенчивали, лишали загадочного, волшебного ореола. В его доме учились цинизму. Учились незаметно. Это очень важно, что незаметно... Специально вроде никто и ничему не учил. Все просто рассказывали друг другу небылицы, изощрялись в грязных подробностях, и Сила, как медалью, награждал ребят своей золотой ухмылкой. И она ложилась на лоб как клеймо, и избавиться от этого клейма... — Он запнулся. Потом ухмыльнулся одним уголком рта, — я хотел сейчас сказать, что мало кто из той компании нашел свое семейное счастье...

Он надолго замолчал, но никто его не поторопил, как никто не посмел его перебить. Наконец он обвел всех долгим взглядом и, как бы осознав происходящее, сказал:

— И насколько ребята были сильны вместе, настолько каждый из них был слаб. Сильные в стае не оставались. Они уходили, как Горелов, а слабых «хазарь» держал за глотку. У стаи свои законы. Если ты слаб и просто ушел, ты становился парием на улице. Тебя все могли обидеть и стремились обидеть, потому что ты чужой, а заступиться за тебя некому. Заступался и вообще вершил судьбы «хазарь». Он ничего не делал своими руками. Он был перст указующий, а расправлялась стая. Иногда Сила позволял себе начать драку. Он подходил и бил первым, и бил страшно, но только один



раз. Остальное доканчивали ребята. По-моему, потерпевший и есть человек, отвергнутый стаей. Он или был в ней, или привлекался, но оказал пассивное сопротивление, и его изгнали.

Мне показалось, что Гладилин знает и боится Суханова. Только этим можно объяснить его поведение и в тот вечер, и на другой день в училище, и здесь, на суде. Типичный уличный пария. У нас такие были. Но вот как объяснить поведение Сухого? Ведь он действительно не был пьян до беспамятства, и деньги ему были не нужны... Предположим, что у него сработал рефлекс на отступника, но тогда он просто бы дал ему пинка, а всерьез связываться не стал бы...

— Вы в этом уверены? — спросил внимательно слушавший Васильев.

— Абсолютно! — воскликнул Стельмахович.

— Что-то не верится мне, что в наше время могут существовать такие стаи и «хазари», как вы их называли, — сказал Игнатов. — Я родился в этом городе, но ничего подобного не замечал.

— А я думаю, что Стельмахович в чем-то прав, — сказал Васильев.

Самым трудным в теперешней профессии для Васильева было почувствовать себя судьей. Именно так: не научиться быть, а почувствовать. Возможно, это произошло оттого, что профессию оружейника он выбирал сознательно, по любви, а судьей стал чуть ли не случайно... Впрочем, конечно, не случайно, но самому ему казалось, что случайно.

В 1942 году прямо из госпиталя его эвакуировали на Урал, в родные края. Надо было работать. А что он мог? С трудом передвигался, так как еще не привык к протезам. Нужно было искать сидячую работу. Нашел: устроился приемщиком в контору Заготживсырье. Ну что ж, кому-то надо работать и приемщиком, тем более что на другое ты не способен. Поначалу так и думал, что обречен на сидячую работу. И хоть подолгу не отпускал из конторы охотников, сдающих шкуры и мясо, все выспрашивал, жадно глотал мельчайшие подробности той внешней, закрытой четырьмя бревенчатыми стенами жизни, хоть поставил свой стол так, чтобы сидеть против маленького, тусклого окошечка, прорубленного

прямо на родной уральский лес, вскоре почувствовал, что задыхается. Нет, эта работа не для него.

Он похудел, как в самые тяжелые времена в госпитале, когда месяцами не ощущал себя живым, когда и жить не хотелось...

Потребность в движении, в деятельности он чувствовал как жажду, физически, ежеминутно, до галлюцинаций. И собственная беспомощность доводила его до бешенства.

Вот тут и произошло то, что про себя называл случайностью. В газете прочитал, что в Казани при юридическом факультете организованы трехмесячные юридические курсы по подготовке судебно-прокурорских работников. Прочитать было мало, нужно еще было все продумать. И на это ушло несколько дней. Только потом решился послать запрос. Описал честно все свои обстоятельства и ответа ждал как приговора.

Он до сих пор считает, что тогда ему повезло. Если б отказали, то неизвестно, как все повернулось бы дальше.

И потом была учеба, но эту, в Казани, он будет помнить всю жизнь. Будто кто-то специально подтасовал его годы так, чтоб самая черная карта выпала вначале, словно кто-то намеренно испытывал его на прочность, на волю, на готовность к будущей работе...

В первый же месяц учебы Васильев свалился с тяжелейшим приступом аппендицита. Операция прошла неудачно, около двух месяцев он провел в больнице. Когда вышел, до экзаменов оставалось три недели.

Он не мог упустить этот шанс. Занимался чуть ли не круглыми сутками. Взял у товарищей конспекты, литературу. Соседи по общежитию, глядя на него, чувствовали себя бездельниками. Для них это не было единственным шансом, для них это была просто очередная попытка.

Экзаменаторы, зная о его судьбе, зная, что две трети занятий он пропустил, уважая его фронтовые заслуги, попытались спрашивать осторожно, чтоб не натолкнуться как-нибудь ненароком на провалы в знаниях. Васильев это почувствовал и разозлился.

— Скажите, вам меня очень жалко? — спросил он ровным голосом, глядя прямо в глаза экзаменатору. Экзаменатор не нашелся с ответом. Тогда Васильев сказал все тем же ровным голосом:

— Если вы считаете, что неполноценный, убогонь-

кий человек может быть судьей в награду за его прошлые заслуги, я отвечать отказываюсь. В противном случае, пожалуйста, спрашивайте меня по-настоящему. Экзамены он сдал блестяще.

В городке К. Васильев появился в феврале сорок четвертого, через три месяца после того, как оттуда прогнали оккупантов. Первое время участвовал в судебных процессах в качестве народного заседателя. Думал, что сможет привыкнуть и к аудитории и к процессу, но когда его выбрали народным судьей и когда настал черед сесть в судейское кресло и начать первое в своей жизни разбирательство, единственное, в чем он был уверен до конца, — это то, что он никакой не судья.

Перед ним проходили люди со своими заботами, бедами, проблемами, и он должен был решать их судьбу. И хоть на первых порах Васильев вел заседания, вооружившись кодексами и справочниками, он чувствовал, что прежде всего он должен узнать этих людей...

Прокатилась по этим местам война, прогулялась туда и обратно, и неизвестно, когда ее походка была тяжелее...

Они много потеряли: детей и внуков, матерей и отцов, дома, хлеб, корову, последнюю курицу... Да, в сорок четвертом было больше всего «коровьих» дел. Отберут фашисты коров, соберут в стадо и погонят в Германию, а партизаны отобьют стадо и раздадут в соседнем селе. А после освобождения увидит хозяин корову и идет к судье — моя, мол, корова, могу свидетелей предоставить. И как тут быть? Ведь у того, нового хозяина, немцы тоже отобрали корову. И семья у него больше, и дети грудные, и скормил он этой корове крышу с сарая, и с риском для жизни (еще во времена оккупации) прятал эту корову и таскал из леса по ночам вязанками сопревшее сено из позапрошлогодних, забытых под снегом копешек, и отними сейчас у него эту корову — малые детишки перемрут с голоду, да и не только его, но и соседские... И никто не виноват, ни прежний хозяин, ни теперешний, и как тут быть? И ответа на этот вопрос не найдешь ни в одном гражданском кодексе. Если б можно было ответчиком вызвать саму войну, тогда все было бы проще.

Однажды он заметил, что человек, с которым еще вчера он спокойно разговаривал на улице, сегодня, при-

дя к нему в кабинет, стал объясняться суконными, невразумительными словами, да так запутанно, что понять его решительно было невозможно... И Васильев понял, что он для этих людей чужой, что вчера на улице он был чуть проще и доступнее, а сегодня нормальному человеческому разговору мешает этот казенный стол, что и сам за этим столом чувствует себя неуютно. Так и родилась эта легенда о лавочке и о мировом. Ни разу он не позволил себе сказать, мол, приходите завтра на прием и там разберемся... Большинство вопросов решалось прямо на месте.

Он стал одним из них. Он так же возделывал свой небольшой участок и сажал картошку. У него на огороде так же, как у соседей, квохтали куры, его жена (а женился он в сорок шестом) так же, как и все жены, пекла хлеб да еще пироги, знаменитые на весь городок.

Он был одним из них, но он был судья, как один сосед был бондарь, другой кузнец, третий шорник, а четвертый медник-жестянщик. И они, когда рассыпалась бочка, шли к бондарю, когда распаивался самовар, шли к меднику, а когда возникал спор, они приходили к судье. Притом приходили по-простому, по-соседски, в любое время и даже ночью... Приходили и знали, что никто в целом районе не может его упрекнуть в несправедливом решении, и им было достаточно одного его слова, а до судебного разбирательства дело частенько и не доходило.

Да, они много потеряли на этой войне, но, приходя к нему, они понимали, что и он потерял не меньше, и потому его слово, опирающееся на закон, было для них законом, хотя они меньше всего задумывались о статьях и параграфах, стоящих за его словами.

Вот потому-то Костричкина и не нашла той легендарной лавочки перед зданием суда. Потому-то легенда все-таки оказалась правдивой.

Только тогда, после нескольких лет работы, ему удалось победить свою неуверенность и он почувствовал себя судьей.

Прокурор докуривал свою сигарету в коридоре, в стороне от всех. Заседатели Игнатов и Стельмахович стояли порознь. Видно было, что равнодушный, слабый интерес друг к другу сменился у них отчуждением.

Причем Игнатов, как человек более темпераментный и энергичный, проявлял его отчетливее. Он все время поглядывал на Стельмаховича и крутил головой, будто хотел сказать: «Ну надо же... напридумают, нафантазируют, а тут судьба человека решается, тут не до фантазий».

Васильев на этот раз изменил своему правилу, захватил палку и теперь шел, опираясь на нее всей тяжестью. Сашка Морозов, кутивший на лестничной площадке в обществе Румянцева и еще двух парней, увидел Васильева, повернулся к нему и церемонно раскланялся и даже приподнял двумя пальцами несуществующую шляпу, и опять Васильеву захотелось его выпороть.

Игнатов двинулся навстречу Васильеву и, остановив его, тихо сказал:

— Ну что, дело к концу? По-моему, с Сухановым все ясно... А мотивы его поступка, — он помолчал и покрутил в воздухе толстенькими пальцами, — по-моему, мы усложняем самого Суханова. Он проще, и мотивы проще...

— С Сухановым ясно, — задумчиво сказал Васильев, — если б все дело было в Суханове, можно было закончить еще час назад. Вот Румянцев, что за фигура?

— Но судим мы не Румянцева, — сказал Игнатов. Васильев, на мгновение задумавшись, ответил:

— Это еще неизвестно.

Стельмахович стоял отчужденно. Очевидно, признания в кабинете судьи дались ему нелегко.

Взглянув на публику в зале, Васильев наконец понял, что именно в ней его смущало: в зале сидела притихшая, растерянная, потерявшая своего вожака стая. Вот откуда такая заинтересованность, вот откуда наэлектризованная атмосфера.

То, что Сашка Морозов стоял в одной компании с Румянцевым, Васильева неприятно поразило, еще когда он проходил по коридору. Еще тогда мелькнула догадка, в которую побоялся поверить, но поверить было очень соблазнительно. Тогда все сходилась бы: и сведение Румянцевым счетов с Сухановым, и их взаимная ненависть, и уверенность Румянцева в своей неуязвимости, и обида Суханова, когда Румянцев расценил его

поступок как мальчишество. И эта соблазнительная догадка огорчила Васильева настолько, что он чуть даже вслух не сказал: «Э-эх! Прозевали мальчишку. Ты прозевал, ты!»

— Пригласите свидетеля Морозова, — сказал Васильев и повернулся к двери.

Сашка вошел чуть враскачку, не вынимая рук из карманов брюк, неторопливо оглядел зал, будто знакомился с аудиторией, перед которой ему предстоит выступать с сольным номером, потом подошел к трибуне и, прежде чем подписать предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний, долго читал бумажку, потом картинно рассматривал шариковую ручку и снимал невидимый волосок с кончика и только после этого размашисто и небрежно расписался.

— Свидетель Морозов, — сказал Васильев строгим голосом, — вы знакомы с подсудимым Сухановым Анатолием?

Сашка долго смотрел на Сухого так, словно в первый раз видел, и даже весь подался вбок, якобы для того, чтобы лучше разглядеть этого человека. Потом повернулся к судье и, глядя на него ясными глазами, сказал:

— Знакомы.

— Как давно?

— Года полтора.

— Так почему же вы его так долго рассматривали? — не выдержал прокурор. Его бесило Сашкино кривляние.

— Он с тех пор сильно изменился, — сказал Сашка. — Похудел очень... — добавил он после паузы.

В зале засмеялись. Васильев отметил, что засмеялись только в одном углу: те ребята, что стояли в перерыве с Румянцевым.

— Какие у вас были отношения с подсудимым перед арестом? — спросил Васильев. Он уже не интересовался историей их отношений, она была и так достаточно ясна со слов Горелова, его сейчас больше всего волновала справедливость догадки.

— Добрососедские... — жеманно ответил Сашка, и в зале снова засмеялись.

— Нам известно, что одно время вы были очень дружны с Сухановым, а теперь разошлись. Когда это произошло и по какой причине?

— Что?

— Когда вы разошлись? И прекратите кривляться, Морозов, — Васильев сказал это таким тоном, что Сашка невольно присмирел. Его живое лицо застыло в лениво-презрительной гримасе, и Васильев даже вздрогнул, настолько Сашка сейчас был похож на Румянцева. Судья склонился к Стельмаховичу и тихо сказал:

— Год назад он подражал Суханову, а сейчас...

— Румянцеву? — ответил Стельмахович. — Это новый «хазарь». Они соперники с Сухановым.

— Мне тоже так кажется, — сказал Васильев и снова обратился к Морозову: — Так когда вы разошлись с Сухановым?

— Полгода назад, — ответил Сашка без ужимок.

— Почему?

Сашка пожал плечами, посмотрел на Суханова, и лицо его стало еще более презрительное.

— Мне с ним стало неинтересно.

— А раньше вам с ним было интересно? Насколько я знаю, вы целый год не отходили от Суханова ни на шаг.

— Молодой был, неопытный. Сами знаете, чуть в колонию из-за Суханова не попал...

— А теперь поумнели, — невесело усмехнулся Васильев. — С кем вы сейчас дружите? — Он даже не ожидал, что Сашка прямо ответит на этот вопрос.

— С Румянцевым, — сказал Сашка, и в голосе его прозвучала даже некоторая гордость.

— С Румянцевым вам интересно? — спросил Стельмахович и сам смутился. Он не ожидал от себя этого вопроса.

— Конечно, — гордо ответил Морозов.

— А как вы считаете, Румянцеву с вами интересно? — спросил Васильев и посмотрел на Румянцева, сквозь презрительную гримасу которого проступила определенная тревога.

— Думаю, что интересно.

— А я думаю, что нет, — резко сказал Васильев, — и держит он вас при себе как мальчика на побегушках...

— Какое точное определение, — со своего места иронично заметил Румянцев.

— Помолчите, свидетель Румянцев! Вам еще будет предоставлено слово, — сурово одернул его Васильев.

— Как же так получается, Морозов, — сказал он более мягко, — у Суханова вы были чем-то вроде ден-

щика, теперь к Румянцеву попали на такую же роль. Когда же вы на самостоятельные роли выйдете?

— А я не артист, — обиженно сказал Сашка, видно было, что эти слова задели его за живое.

— У вас есть вопросы к свидетелю? — Васильев повернулся к заседателям. Игнатов покачал головой, а Стельмахович утвердительно кивнул. — Пожалуйста, — усталым голосом сказал Васильев.

— Скажите, Морозов, почему вы в тот вечер не были с Румянцевым, раз уж вы так с ним дружите?

— Не помню.

— Он вас не взял к Суханову или вы сами не пошли?

— Сам не пошел, — мрачно сказал Сашка, и Васильев понял, что он соврал.

— А утверждаете, что не помните, — удовлетворенно сказал Стельмахович. — А не говорил ли вам Румянцев, что ему предстоит серьезный разговор с Сухановым?

— Нет, — снова соврал Сашка и испуганно покосился на Румянцева.

«Что же это получается? — думал Васильев. — Один негодяй пожирает другого, и притом делает это нашими руками. Да он сегодня, — думал он о Румянцеве, — навербует себе, пожалуй, поклонников и сторонников еще больше, чем было. Суханов-то развенчан. Король умер — да здравствует король! Так, что ли? Ну нет! Этого не будет. Иначе все зря».

— Садитесь, Морозов, — сказал Васильев. — Свидетель Румянцев, встаньте. — Румянцев встал. — Пожалуйста, подойдите сюда, — сказал Васильев. — Вот так, а теперь расскажите нам, как вы в тот вечер встретились с Сухановым.

— Я пришел к нему домой, — спокойно сказал Румянцев. В каждом его слове сквозила уверенность в своей неуязвимости, и это бесило Васильева.

— Вы знали, что он дома? Он вас ждал?

— Нет. Шел мимо, увидел свет и зашел.

— Свидетель Морозов, — Васильев неожиданно протянул руку к Сашке, и тот даже вздрогнул. — Вы виделись в тот вечер с Румянцевым?

— Да, — растерянно ответил Морозов.

— Где?

— Я заходил к нему домой.

— Вы вместе вышли из дома? — Сашка задумался



и оглянулся на Румянцева. — Правду, только правду! — сказал Васильев.

— Да.

— Румянцев сказал вам, куда он идет?

— Да.

— Что он вам сказал?

— Что идет к Суханову.

— Зачем?

— Не знаю... Сказал, что тот звал.

— Садитесь, Морозов. Румянцев, вы говорите неправду. Вы предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний? Расскажите еще раз, как вы в тот вечер встретились с Сухановым?

— Я встретил Суханова утром, — тихо и без прежней уверенности начал Румянцев, — и он попросил меня зайти к нему после работы, часов в семь.

— Зачем? Суханов вам сказал зачем?

— Просто так, — пожал плечами Румянцев. — Разве обязательно встречаться с определенной целью?

— И все-таки?

— Ну он сказал: «Заходи, выпьем, потолкуем».

— О чем?

Румянцев пожал плечами.

— Подсудимый Суханов, — сказал Васильев, — о чем вы собирались потолковать с Румянцевым?

— Не помню, — зло ответил Суханов.

— Вам, наверное, кажется, что заpiresательством вы помогаете себе, — сказал Васильев, — а на самом деле вы выгораживаете больше Румянцева, чем себя. Ваше дело, но не советую... Садитесь. Потерпевший Гладилин, вам нечего прибавить к тому, что вы уже рассказали?

— Нет. Нечего.

— В каких выражениях Суханов у вас требовал деньги?

— Я точно не помню...

— Как далеко стоял от вас Румянцев?

— Я не обратил внимания.

— Садитесь. Свидетель Никифоров, встаньте. Как далеко от Суханова стоял Румянцев?

— Метрах в трех... Да, не дальше.

Румянцев все так же стоял в одиночестве на трибуне, и хоть и пытался сохранить лениво-презрительную гримасу на лице, Васильев видел, что чувствует он себя далеко не так уютно, как вначале. Создавалось такое

впечатление, что судят его, Румянцева, и именно этого Васильев и добивался, во всяком случае, этого эффекта.

— Вы слышали, что говорил Суханов?

— Нет. Голос я его слышал... Но слов понять было нельзя... Хотя два слова матом я разобрал...

— Свидетель Румянцев, — Васильев сделал ударение на слове «свидетель», — вы слышали, в каких выражениях Суханов требовал деньги у Гладилина?

— Нет. Я не прислушивался.

— Никифоров на другой стороне улицы слышал, а вы нет. Вам собственный ответ кажется убедительным?

— Я по характеру несколько рассеян, — нашелся в ответе Румянцев. — В конце концов я мог бы не говорить и того, что сказал. За язык меня никто не тянул. Почему вы сомневаетесь в моих теперешних показаниях и верите в предыдущие? Это тоже не очень убедительно. Я ведь мог, к примеру, сказать, что в тот момент отвернулся, загляделся на девушку и ничего не видел.

— Нет, этого вы сказать не могли, — тихо сказал Васильев, — на это у вас не хватило бы храбрости. Вы знали, что есть еще один свидетель, вы знали, что есть потерпевший, и не могли даже предположить, что он будет обо всем молчать, и к тому же вам, очевидно, было нужно показать против Суханова, — Васильев снова выделил слово «нужно». — Но сделать вы это хотели как можно «благороднее».

Румянцев видел, как судья переглянулся с заседателем и потом сказал:

— Вы все слышали и видели. Вы спокойно наблюдали, как на ваших глазах совершается ограбление с насилием, и не пришли на помощь потерпевшему. Кроме того, вы, пользуясь правами знакомого, могли удержать Суханова от совершения преступления, но вы и этого не сделали. Суд еще рассмотрит ваши действия. Можете сесть.

Свидетель Морозов, подойдите сюда, — сказал Васильев усталым голосом и долгим и каким-то безнадежным взглядом следил, как выбирается Морозов со своего места, как неторопливо подходит к трибуне. — Свидетель Морозов... — сказал Васильев и запнулся. — Вы понимаете, что здесь происходит?

— Да... — Морозов пренебрежительно пожал плечами. — Суд здесь происходит.

— Скажите, Морозов, подсудимый был вашим другом?

— Да, — Морозов снова пожал плечами и криво улыбнулся, дескать, зачем повторяться.

— Вы были ранее судимы, Морозов?

— Сами знаете... Вы же и судили.

— Я здесь не один, — спокойно ответил Васильев, — отвечайте точнее, были или не были?

— Был.

— Скажите, свидетель Морозов, имел ли Суханов на вас определенное влияние?

— Не знаю... — сказал Морозов.

— А мне думается, что имел. И еще думается мне, что, не будь этого влияния, вы бы не оказались год назад на скамье подсудимых. Скажите, Морозов, а Румянцев, с которым вы теперь дружны, хороший товарищ?

— Да.

— Он и Суханову был хорошим товарищем? — с горькой иронией спросил Васильев.

Морозов промолчал.

— Посмотрите в зал, Морозов, — сказал Васильев и кивнул, понуждая Сашку оглянуться. — Много здесь ребят; для которых Румянцев хороший товарищ?

— Много, — не оглядываясь, буркнул Сашка.

— До первого случая, так ведь? — как бы про себя спросил Васильев. Морозов угрюмо молчал. — Как и было с Сухановым, — добавил Васильев. — Вас Суханов обидел чем-нибудь? — неожиданно спросил Васильев.

— Кого нас? — недоверчиво переспросил Сашка.

— Именно вас, Морозов.

— Нет.

— И вы бы с ним до сих пор дружили бы, если б не нашли друга поинтереснее?..

Сашка ничего не сказал.

— Ну хорошо... Ответьте мне на последний вопрос. Что сказал Румянцев, направляясь к Суханову?

Все в зале замерли, ожидая ответа. Морозов стоял, будто бы оцепенев и глядя перед собой. Он так стоял долго. Потом хриплым от напряженного молчания голосом произнес:

— Он сказал: «Мы еще посмотрим, кто тут хозяин».

Суханов вскочил со своего места и первый раз

обернулся в зал, бешеным взглядом отыскивая Румянцева. Тот сидел, низко опустив голову. В зале стояла мертвая тишина.

— Суд переходит к судебным прениям, слово предоставляется государственному обвинителю...

Прокурору еще до выступления Горелова стал понятен смысл действий Васильева. Его поначалу раздражало собственное непонимание происходящего, и он про себя все время торопил Васильева, чтоб поскорее добраться до сути.

И хотя то, что выяснилось на суде, не совпадало с утвержденным им обвинительным заключением, он не чувствовал ни досады, ни разочарования. Он понимал, что Васильев отчасти обязан своим открытием случаю. Ведь могло быть так, что и Горелова и Морозова судил бы в свое время другой судья.

И теперь, выступая с обвинительной речью, прокурор шел к сути так же постепенно, как несколько часов назад она постепенно раскрывалась ему. Ему хотелось много сказать — и о человеческой, вернее, уже нечеловеческой сущности подсудимого. Он не хотел бы сваливать ответственность за все хулиганства в городе на Суханова и ему подобных, но не может и отвернуться от их незримого участия; такие вот, как Суханов, и создают, к сожалению, определенную нравственную атмосферу на своей улице.

— Ведь смотрите, товарищи судьи, что получается,— говорил прокурор, — перед нами налицо организованная группа со своими внутренними законами, со своим неписаным уставом, со своим вожаком. Я предвижу возражения защиты, мол, нет никаких оснований называть эту группу преступной (юридических оснований). Она, мол, не создана с целью грабежа, воровства, терроризирования или с какими-либо другими преступными целями. Да, это так. И ее вожак не говорил: «грабь», «убей», «изнасилуй», «укради», — больше того, он вроде бы стоял за справедливость и защищал слабых, но почему же тогда всего за год эта «человеколюбивая» группа породила три преступления? На этот вопрос отвечать нелегко... Да потому, товарищи судьи, что в основе этой группы лежали принципы, далекие от любви к человеку, от уважения к личности, от честности и душевной чистоты, свойственной большинству нашей мо-

лодежи. Но мы судим сейчас не за прошлое, а за конкретное преступление. Что можно сказать по этому поводу?

Подсудимый пытался, и довольно настойчиво, оправдаться своим пьяным состоянием, хотя прекрасно понимал, что пьянство не облегчает вину, а, наоборот, усугубляет. Для чего же он это делал? Только для того, чтобы скрыть истинные мотивы преступления, ибо он понял, что именно мотивы и страшны в этом деле, а само преступление, хоть и квалифицировано страшным словом «грабеж», фактически не так уж и страшно. У парня отняли шесть рублей, два раза ударили — и все. Со стороны выглядит не так уж и страшно, если прибавить, что совершено это было по пьянке, впервые, без расчета и вроде бы без особого умысла, и все бы так и было, и суд наверняка нашел бы обстоятельства, смягчающие вину Суханова, и постарался бы применить к нему не очень суровую меру наказания, если бы не мотивы.

Что же это за мотивы? И чем они так страшны? Товарищи судьи, теперь, когда известны все обстоятельства дела, когда ясна личность подсудимого, можно смело говорить о так тщательно скрываемых подсудимым мотивах. Суханов сознательно пошел на грабеж, находясь в трезвой памяти и рассудке (я допускаю, что он был слегка разгорячен вином, но не больше), только для того, чтобы доказать сопернику свое превосходство, свою силу, свою власть на улице. Вдумайтесь, граждане судьи, пошел на грабеж, на насилие только для того, чтоб кому-то что-то доказать. Насколько нужно быть циничным, насколько нужно не любить и не уважать человеческую личность, насколько нужно чувствовать себя безнаказанным, чтобы пойти на такое. И я уверен, что Гладилину повезло, что, окажи он сопротивление, эта история кончилась бы для него более тяжкими, если не трагическими последствиями. Неизвестно, как бы повел себя Суханов, встретив отпор. Ведь не забывают — ему нужно было доказать именно силу и превосходство. Неизвестно, что было в кармане у Суханова, но известно только одно — он не остановился бы ни перед чем.

Прокурор попросил назначить Суханову четыре года лишения свободы в исправительно-трудовой колонии.

Белова очень рассчитывала на последнее слово подсудимого. Она и строила свою защиту, чтобы акцент пришелся на это последнее слово. Но Суханов не оправдал ее надежд...

— Вот представитель обвинения высказал мысль, что Суханов чуть ли не главарь преступной банды, — говорила Белова. — Я, естественно, никогда не была мальчишкой, но даже и среди девочек в дни моей молодости постоянно возникали всевозможные группировки, которые, как правило, имели своих лидеров. Ведь, согласитесь со мной, одну и ту же вещь можно охарактеризовать разными словами. Вот мы говорим — главарь банды, и дело предстает в самом мрачном свете, но скажем: лидер — и все не так страшно, как кажется.

Здесь много говорилось о дурном влиянии моего подзащитного на окружающих его подростков, — продолжала Белова. — И хотя мне кажется, что рассматривается сегодня не дело о дурном влиянии, а дело об ограблении, мне все-таки хотелось бы остановиться на этой точке зрения. Во-первых, сам факт влияния — такой ли уж это плохой факт? Раз влияет — значит, его слушаются, а раз слушаются, значит, уважают... И еще о влиянии... Раз уж в ходе сегодняшнего судебного разбирательства так сложилось, что влияние рассматривается как чуть ли не отягчающее обстоятельство, то нам остается только принять эти условия... Но тогда должна обратить ваше внимание на следующее. Разве Румянцев, присутствующий здесь в качестве свидетеля, не имел определенного влияния на моего подзащитного? Разве не при его, пусть даже косвенном, участии совершилось преступление? Уважаемый суд вменил в вину Румянцеву то, что он своевременно не пришел на помощь потерпевшему Гладилину, а он и не мог прийти, потому что... — она снова сделала паузу, — потому что, — повторила она, и голос ее зазвенел, — он сам это преступление спровоцировал. И я надеюсь, — продолжала она, подождав, пока утихнет шум в зале, — что в своем последнем слове подзащитный подтвердит мою правоту.

Но Суханов от последнего слова отказался.

Галоши со сломанными задниками стояли под шкафом, и Васильев долго доставал их оттуда палкой и потом долго надевал. Носить эти галоши, неизменно вы-

зывающие ироническую улыбку у непосвященных, придумал он сам. И не потому, что они ему нравились. Васильев всегда внимательно следил за модой и одевался со вкусом. Он терпеть не мог эти галоши, порой они бесили его, но не носить их, особенно в слякоть, он не мог. Он не мог прийти домой и переобуться в домашние тапочки. Переобуться для него означало снять протезы и, стало быть, лишить себя возможности передвижения... И он снимал эти проклятые грязные галоши на лестничной клетке перед дверью, и соседская девочка каждый раз ставила их поровнее, и он с тревогой думал о том времени, когда промышленность прекратит выпускать эти галоши, у которых так быстро ломаются задники.

Он медленно прошел в вестибюль, уже совершенно опустевший, и направился к своей машине, оставшейся в одиночестве перед зданием суда.

Он шел и думал, что, может, зря он так затянул процесс? Может, следовало быть покороче, ведь и так примерно к середине все было ему ясно. И тогда сегодня он, может быть, успел бы просмотреть материалы товарищеского суда, подготовиться к завтрашнему выступлению на комбинате шелковых тканей, поговорить толком с Костричкиной по поводу результатов проверки и вообще сделать много необходимых дел.

Нет, по-другому он поступить не мог.

Потому что в зале сидела притихшая ребятня. Потому что мог остаться безнаказанным Румянцев (суд вынес по его поводу частное определение и направил в техникум, где учился Румянцев, «для соответствующего реагирования»). Потому что он, Васильев, так дорого заплатил за право этих ребятшек рождаться, жить, учиться, петь песни, любить девушек, рожать детей и заселять эту прекрасную землю, и он просто не мог допустить, чтоб они этим правом не воспользовались.

## СОДЕРЖАНИЕ

КОСВЕННЫЕ УЛИКИ . . . . .	3
СВЯТОЙ МАВРИКИЙ . . . . .	81
СУДЬЯ . . . . .	121



**Перов Ю. Ф.**

**П27** Косвенные улики. — М.: Мол. гвардия, 1982.— 191 с., ил. — (Стрела).

В пер.: 80 к. 100 000 экз.

В книгу вошли три повести: «Косвенные улики», «Святой Маврикий», «Судья». Герои книги — молодые работники милиции, прокуратуры. В силу различных обстоятельств им приходится сталкиваться не только с криминальными задачами, но и со сложными нравственно-этическими проблемами. Автора прежде всего интересуют причины преступления и только потом процесс их раскрытия. Все три повести остро сюжетны.

Повесть «Святой Маврикий» написана в соавторстве с В. Степановым.

**П** 4702010200 — 017 261 — 82,  
078(02) — 82

**ББК 84**  
**Р2**

**ИБ № 3080**

**Юрий Федорович Перов**

**КОСВЕННЫЕ УЛИКИ**

Редактор **Н. Притулина**

Художник **А. Семенов**

Рецензенты: **Б. Ряховский, Л. Словин**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **В. Пилкова**

Корректоры **Л. Четыркина, В. Авдеева**

Сдано в набор 21.07.81. Подписано в печать 19.11.81. А09868. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 10,08. Учетно-изд. л. 10,6. Тираж 100 000 экз. Цена 80 коп. Заказ 1096.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Scan, DJVU: Tiger, 2011

Юрий Перов родился в 1943 году в Москве. Работал электриком, слесарем, матросом-спасателем, мотористом, печником-трубочистом, реставратором, редактором.

Первые статьи в молодежных газетах напечатал в пятнадцать лет.

Приключенческая повесть «ИПЦ» вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1969 году. В различных журналах были опубликованы повести «Памятник», «История одной болезни», «Выход», а также рассказы и очерки.